

Фридрих

Гундольф

A portrait of Paracelsus, a Swiss physician and alchemist. He is depicted from the chest up, wearing a dark, patterned robe over a white, vertically striped shirt with a decorative collar. He has a serious expression and is looking slightly to the left. The background is dark and textured. The name 'Парацельс' is written in a white box at the bottom of the image.

ПАРАЦЕЛЬС



PARACELSUS

PARACELSUS

VON

Friedrich Gundolf

Фридрих Гундольф

ПАРАЦЕЛЬС

*Перевод с немецкого
Л. Маркевич*



Санкт-Петербург
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
2015

УДК 82-4+929
ББК 5г3
Г94

Гундольф Ф.

Парацельс / Пер. с нем. Л. Маркевич. — СПб.: Владимир Даль, 2014. — 191 с.

ISBN 978-5-93615-154-5

Литературно-философское эссе о Парацельсе, изданное Фридрихом Гундольфом в 1927 году, проникнуто идеями христианского романтизма и философии жизни, переживавших в это время в Европе свой расцвет. У читателя, знакомого с духовными движениями той эпохи, подобная работа вызовет не только предметный, но и методологический интерес: наряду с жизнеописанием гениального ученого и целителя, с выявлением духовной природы и особенностей его гения она в не меньшей мере сообщает и множество подробностей о самом авторе эссе и о времени, когда оно создавалось.

Творческий портрет Парацельса, написанный в дильтеевском духе, преследует своей главной целью не указание деталей и перипетий его жизненного пути, а именно раскрытие символического смысла его дарования, его творческой жизненной силы, не просто выражающей то или иное духовное содержание, но становящейся движителем самой истории европейского духа. По мнению Гундольфа, Парацельс, наряду со своим современником Лютером, представляет собой фигуру «макрокосмического рвения», не знавшую себе равных вплоть до явления Гёте, и принадлежит к числу тех гениев человечества, которые понимали творческое действие как становление и рост, а не просто как комбинирование и построение. Именно то, что в эпоху Просвещения считалось предосудительным, принижалось и выхолащивалось в сути творческого деяния, вновь находит свое адекватное выражение и признание в герменевтической эссеистике XX века.

© Издательство «Владимир Даль»,
2015

© Палей П., оформление, 2015

© Маркевич Л., перевод, 2015

© Морозов В. Н., статья, 2015

ISBN 978-5-93615-154-5

Вальтеру Кемпнеру

ПРЕДИСЛОВИЕ

Парацельс, пожалуй, как никто другой из врачей Нового времени, непосредственно принадлежит истории духа, ибо, следуя идее Первоначала во Вселенной, он развивал ту область знаний, которая сегодня почти всецело стала вотчиной узких специалистов. Цель этой книги — не приумножить библиографическую и медицинскую литературу о Парацельсе, но раскрыть общедуховную сродность его мышления и его деятельности.

ПАРАЦЕЛЬС

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный также как Парацельс, родился 10 ноября 1493 года в швейцарском городке Айнзидельн. Его семья происходила из обедневших швабских дворян. Отец Парацельса — сам ученейший врач и алхимик, — ревностно занимался воспитанием мальчика и рано преподавал ему свои знания. О матери нам ничего не известно, однако из позднейшего высказывания Парацельса можно заключить, что он, вероятно, глубоко чтил ее: «Дитя не нуждается в созвездиях или планетах; мать для него и планета, и звезда». Дом их, окруженный еловыми лесами, стоял на берегу шумного озера Зиль. Как рассказывает сам Парацельс, он «вырос среди еловых шишек», и с самого детства свежее и пряное дыхание земли определило его восприятие мира и дальнейшую жизнь, избавив от затхлого кабинетного духа, свойственного столь многим сыновьям немецких священников и учителей, от мертвой книжной учености, уже тогда присущей большинству немецких научных трактатов. С ранних лет он чутко внимал природе, все чувства его были обострены и обращены к созидующим силам. Когда мальчику исполнилось девять, отец получил место городского

лекаря в городке Филлах в Каринтии, известном богатыми рудниками. Горное дело пробудило детское воображение и глубоко отложилось в памяти; отсюда берут начало разносторонние познания Парацельса в металлургии, почерпнутые не из книг и не у наставников, а из деятельного созерцания. Так он учился на собственном опыте, а знания ощущал непосредственной частью жизни — в том возрасте, когда рассуждения, методы и системы еще не заслонили магию восприятия; в котором воедино сливаются зрение, дыхание, слух, именование. Быть может, на основе этих детских впечатлений и возникла гармония между чувством жизни и наукой, которая отличает учение Парацельса от трудов его оппонентов, следовавших традиции Аристотеля и Галена, и ставит его в один ряд с религиозными гениями. К горному делу добавились начатки искусства разложения и соединения веществ... он то изучал способы очистки и использования добываемых руд, трудясь наравне с простыми ремесленниками, то пускался на поиски волшебных или чудодейственных соединений. Одной из отправных точек для медицины Парацельса стала минералогия, другой ботаника — обе науки были для него не просто учением о веществах, а учением о силах, с которыми он был еще с детских лет хорошо знаком и вместе с тем таинственно ими очарован. Его отец в то же время преподавал химию в Филлахской школе горного дела на службе у Фуггеров. Он делился с пытливым мальчиком своими знаниями, знакомил его с трудами алхимиков древности и современности. Намного важнее чтения скучных или невнятных сочинений было для мальчика раннее знакомство с горным делом: благодаря отцу он

смог воочию увидеть шахты и металлургические заводы, плавильные печи и рудопромывочные желоба. В роли исследователя и учителя отец как будто бы предвосхитил своего сына, которого в будущем ждала всемирная известность. За преподанные основы знаний Парацельс часто и охотно выражает благодарность, в первую очередь отцу. «Сызмальства занимался я этими предметами и обучался у опытных наставников, кои были самыми умудренными в Adepta Philosophia и искушенными в ремеслах, прежде всего (к ним принадлежит) мой отец Вильгельм фон Гогенгейм, который никогда меня не оставлял».

К шестнадцати годам не по возрасту развитый юноша подготовился к поступлению в университет, занимаясь под руководством отца, который обучал его естественным наукам, и учителей из монастырской школы Санкт-Андре в Лавантгале, чей вклад, вероятно, заключался в уроках схоластической книжной учености. Нам точно не известен город, в котором Парацельс получил университетское образование;* известно лишь его разочарование в традиционной медицине, вызванное царившим в ней формализмом и догматическими спорами о понятиях. Тогдашние медики избрали в качестве своей Библии положения Галена, основанные на его собственных наблюдениях, но переняли их не как плоды субъективного восприятия, требующие пересмотра, а стали повторять и толковать их как непреложную истину, опи-

* Современное состояние исследований позволяет утверждать, что молодой Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм получил образование в Феррарском университете. — *Прим. ред.*

раясь на арабские дополнения и комментарии Авиценны и Аверроэса (Ибн Сины и Ибн Рушда). Схоластический реализм, который признавал понятия и имена более действительными, чем заключенные в них содержания, должно быть, мешал развитию медицины еще более, чем развитию гуманитарных наук. Парацельс, бунтарски настроенный в силу природной живости ума, избавленный от школярского начетничества благодаря широкому взгляду на мир, перенятому у отца, никогда бы не согласился заключить себя в тесные рамки закостенелой науки после того, как однажды открыл для себя необъятное мироздание и уверовал в него. Вся его жизнь и учение подчинены одному сильнейшему впечатлению, видимо, полученному при посещении факультета: подлинное знание — плод дышащего, созерцательного, деятельного, созидającego соприкосновения с природой, — отделено непреодолимой пропастью от книжного знания, предлагающего нам незыблемые суждения и тезисы в виде осадка улетучившейся действительности. Без конца возвращается Парацельс к этому противоречию, в бесчисленных сравнениях славит он настоящую, звучную книгу Вселенной как единственный источник знания в отличие от ученых трудов и ученых мужей. Все безмерное богатство и неистовство его речи, питаемое гордостью и презрением, торжеством и унижениями, испытанными от завистников и глупцов, строится вокруг этого переживания, сопутствующего ему с первых шагов в стенах университета до самой смерти: книги как воплощение всякого пустого чванства и бесплодного мудрствования — и книга жизни как источник истины и поддержки, подлинного божественного просветления и любви к людям.

Ибо при всей тяге к неизведанным истокам сердце его было проникнуто благочестием: исследование тварного мира было для него путем к Богу, выбранным по велению Бога. Вероятно, ни один современник Фауста не воплотил в жизнь фаустовское мышление так полно, как Парацельс. «К словам природы будь не глух — и ты узнаешь ход светил».* В ту пору, как и во все времена, простонародью и ремесленному люду были свойственны отчасти ребяческая жажда познания и умение раздобывать эти знания, что вызывалось жизненной необходимостью. Черпать знания из этого житейского моря, а не из книжных размышлений, вводить повседневную эмпирику в самом широком понимании в светлую волю и осознанное исследование (в «философию», как называет Парацельс естественную науку, утверждающуюся и становящуюся через его личность) — вот какой цели неизменно подчинены все его деяния. Это вполне отвечает духу эпохи, которая повсеместно стремилась уйти от обветшалых и застывших авторитетов и вернуться к чистым родникам и живым истокам. Но зачастую сами истоки обнаруживались все в тех же книгах, а обновление, которого жаждало нетерпеливое сердце, заканчивалось при встрече с Библией, или Цицероном, или пересмотренным *Corpus juris*,** и на место книжных авторитетов заступали подсмотренные в жизни образцы. Один лишь Парацельс, наряду с Лютером выражает исконную и могущественную

* И. В. Гёте. «Фауст». Цитаты из «Фауста» даны в переводе Н. Холодковского. — Здесь и далее в тексте эссе примечания переводчика.

** *Corpus juris* (лат.). — Свод законов.

природу немецкой души эпохи Реформации: он способствовал обновлению в своём деле не просто словом, чей дух столь быстро ускользает из мертвых букв, но указывал непосредственно на область знаний о силах природы и веществах, которая, заточив себя в кандалы из трудов авторитетов, поднимала на смех всякого, кто осмеливался её изучать как первооткрыватель. Более того, он не хотел основывать парацельсианство, подобно тому как Лютер, частью по доброй воле, частью невольно, через свои сочинения, основал лютеранство. Парацельс оставался в «гордом одиночестве» и страдал от своих сомнительных учеников. Парацельса из-за его бескнижия и поиска первоначала, вероятно, ставили в один ряд с мистиками или мечтателями: но последние отличаются от него коренным образом тем, что их отказ от авторитетов не имел положительной цели, и в его основе лежала лишь отдельная необъятная душа, субъект без свойств и материи, пусть даже они называли или ощущали его Богом. Парацельс же в поиске первоисточника обратился к доступному для чувственного восприятия внешнему миру, в полном объеме вооружившись мышлением и чувствами, как непредвзятый человек, не свободный от страстей и заблуждений, но и не связанный предписаниями и цеховым уставом. Пытаясь постичь впервые им воспринятое, еще произнесенное и прежде произносимое, для *передачи* (Mit-teilung), для *выражения* (Äußer-ung) он прибегал время от времени к обозначениям из мистической, платонической и платиновской философии, меньше прочих подвластных господствовавшей книжной учености, но это было не зависимостью от учения, а только решением терминологических, языковых задач.

Ведь не мог же он изобретать для своих новых понятий сплошь новые слова... хотя вклад Парацельса в язык тоже удивителен. Его во многом неясные и запальчивые речи — это борьба с формой выражения, косноязычие гения, который видит и ощущает больше, чем способен выразить язык, и в этом они сродни мистическим переживаниям... и, несомненно, его усердное природоискательство было столь же глубоко набожным и страстным, как богоискательство мистиков. Тем не менее, их поиски не были схожи, а имели прямо противоположную направленность: мистики стремились прийти от разнообразия сущего к единому первоначалу, лишенному образа и формы, на родину души... Парацельс искал действующее божество, внутренне присущее ему самому, в природном многообразии и порядке, «всех действиях, всех тайнах»,* подобно (но гораздо решительнее) Себастьяну Франку, который искал его в истории. Но это же и отличало его от Франка, так как в своем богопознании Парацельс не был ограничен письменными документами и материалами. Итак, несмотря на некоторые заимствования из символики позднеантичных мистагогов, Парацельс не мистик и мечтатель, а исследователь, такой же, как Галилей или Кеплер, пусть даже в более темную, до-рационалистическую эпоху и в до-рационалистической форме, откуда и взялась известная нескладность речи... начинающий исследователь, а не только собиратель и систематизатор, как, например, поколением позже — Конрад Геснер или Агрикола, вот еще почему он, подобно весеннему потоку, пробивающему себе русло в скале, не-

* И. В. Гёте. «Фауст».

истов и безудержен — но в отличие от своих современников, предстает не сумрачным гением, окутанным тайной, скованным и отталкивающим, но одним из самых светлых и живых умов, порой неясным в выражениях, порой сбивчивым в своих умозаклчениях, но независимым и свободным как никто другой. Парацельс предстает более самостоятельным, мужественным, дерзновенным, чем сам Лютер, который испугался последствий своих собственных выступлений. Богослов Лютер был более мощной и цельной натурой, чем «Лютер в медицине», как называли Парацельса сначала хулители, а потом почитатели, и посвятил все свои силы делу, более значимому в мировой истории; но среди гордых и одиноких вольнодумцев, которые «не могут иначе» и за свою смелость платят одиночеством, в тогдашней Германии сект и школ, фанатизма и духа цеховой замкнутости был лишь один, равный Парацельсу, — Себастьян Франк, которого, однако, Парацельс превосходит своей исследовательской мощью, плодотворным мышлением, героическим высокомерием. Путь от медицины того времени к новшествам Парацельса был более тернистым, чем путь от богословия того времени к учению Себастьяна Франка.

Эта независимость, швабское *свое-нравие* (Eigensinn), гениальная страсть к нововведениям и способность предвидеть будущее были присущи ему уже в годы учения в университете, а выбор стези вольно или невольно, но усиливал эту независимость. Обладая невероятной работоспособностью и острым умом, Парацельс, должно быть, быстро прошел курс традиционной теоретической медицины в университете и отверг ее, сочтя чуждой или несостоятельной, а затем подошел к своей цели

«через другую дверь» — природу. Он был весьма сведущ в трудах античных врачей — об этом свидетельствует его комментарий к афоризмам Гиппократу, содержащий полемику с последователями Галена, — без чего невозможно было получить степень доктора медицины, которую ему присудили на основании честной защиты, как бы ни сомневались в этом клеветники и завистники.

От изучения книг он перешел к работе в лабораториях, от теорий — к экспериментам, от мнений — к опыту. Этот путь был подсказан ему отцовскими занятиями алхимией; сам Парацельс упоминает аббата Тритемия из аббатства св. Иакова в Вюрцбурге — ученого фаустовского типа, о котором суеверная молва сложила волшебные легенды. Около 1519 года Парацельс работал помощником у Зигмунда Фуггера, владельца серебряного рудника в Шваце под Инсбруком, который не ограничивался практической задачей получения серебра, но углублялся в изучение природных явлений... так зарождалось новое естествознание: нужда и труд побуждали ум усердно предаваться размышлениям. В то время алхимия, в противоположность схоластической науке, воплощала не фантастическое или не только фантастическое начало, как мы привыкли думать сегодня, но и близость к действительности, практический опыт, мостик между жизнью и наукой, первые робкие попытки растущего ума постичь видимый мир. Об исторической связи между слепыми поисками алхимиков и открытиями в медицине Парацельс сам написал в третьем трактате своей «Большой книги хирургии».

Парацельсу пришлось заново восстанавливать тесные взаимосвязи между созерцанием, созиданием, знанием и применением, утраченные учеными-схоластами,

а опыты алхимиков были в то время не чем иным, как пока еще беспомощным способом выразить связь между макрокосмом и микрокосмом, между силами природы и нуждами человека — связь, которую Парацельс стремился полнее и точнее исследовать и использовать. Прежде всего он вновь поставил вопрос, заданный Фаустом духу Земли, и решил, что получил более утешительный ответ. Предположение о том, что между макрокосмом и микрокосмом существует точное соответствие, легло в основу его опытов. Согласно этой мысли, из веществ и сил, возникавших при производстве металла, можно было извлечь пользу для человеческого организма. В качестве примера Парацельс приводит сурьму — алхимики считали ее лучшим средством для очищения золота: «Вот какое свойство она выказывает, и это свойство суть указание для врача: если ты воздействуешь так на золото, в чем сила твоя для человека?.. Ибо это есть таинство, предстающее нашим очам; справедливо то, что мы можем использовать ее как врачи, а не как золотых дел мастера... Подобно тому как сурьма очищает золото, она очищает и человека». «Итак, врачу следует исследовать природу и силу каждого вещества, и надобно искусство медицины находить во внешних силах, что проявляются в природе». Итогом годов учения и странствий Парацельса-алхимика стало то, что он ввел идею превращения металлов в обширное учение о силах, которые пронизывали мир животных, растений и минералов, а в человеческом организме обретали одновременно смысл и форму.

Парацельс не только проникал в глубины, но и стремился охватить шири; был странником среди ученых своего времени, не имевшим себе равных. Скитания были

для него не просто естественной необходимостью, вызванной поисками места, как у многих странствующих школяров, и не свойством неугомонной юношеской натуры, но потребностью его ума, частью служения науке. Тот же неумный и пылкий темперамент, что гнал его из библиотек в лаборатории и на рудники, чтобы изучить недра мироздания, так сказать, его нутро, заставлял Парацельса скитаться всюду, куда он мог добраться, и наблюдать явления окружающего мира и их развитие во всей полноте и широте. Тот же дух времени, который вел за собой Колумба или Васко да Гама — то есть постижение Земли, вера в истинность чувственно воспринимаемого мира, воля к познанию явной тайны, — владел и Парацельсом, но на типично немецкий лад выражался в том, чтобы разгадывать силу предметов и подоплеку явлений. И тягу Парацельса к странствиям, и его отказ от книг в пользу экспериментов ортодоксальные последователи Галена расценивали как неслыханное вольнодумство, что объяснялось одной и той же причиной, к которой мы сегодня едва ли отнесемся сочувственно: они видели в этом отрицание их совершенно особой действительности, отрицание воспринимаемого ими мира, а именно мира статических понятий, незыблемых универсалий, заключенных в слове и доступных в тиши кабинета. Зачем странствовать ради познания? Парацельс признавал окружающий мир опорой подлинного и действительного, переосмыслив тем самым весь мир знаков. Таким образом, его странствия вовсе не частное дело, как у ремесленников от науки, и не современные путешествия ради развлечения, и не миссионерские скитания, как у апостолов и членов монашеских орденов, но проблеск нового мироощуще-

ния, не имеющего определенных целей и путей, живое чутье природы, воплощенное в личности гения. Помимо этого нового устремления, Парацельс был наделен еще и сознанием нового типа. С невероятной прозорливостью, вообще отличающей его на фоне современников, в сочинении «Защита и ответ» Парацельс сам обосновывает необходимость путешествий, защищаясь от нападок собратьев по цеху. Даже эти нападки были не только проявлением личной вражды, но и отпором неведомой угрозе, нависшей над прежним привычным порядком вещей. «Ведь знания все в пределах одной отчизны нашей заключаться не могут, но распределены по всему свету. Отнюдь не в одном человеке и не в одном месте знания содержатся — надобно их по крохе собирать, извлекать и искать там, где они есть. Вместе со мной свидетельствует весь свод небесный, что склонности распределены особенным образом, а не просто каждому поровну; ведь и лучи достигают своей цели по велению высших сфер... Знание ни за кем не следует, но нам надобно следовать за ним. Вот почему я знаю, что это я должен искать знания, а не они меня. Как можно стать хорошим космографом или хорошим географом, не выходя за порог?». «...Болезни блуждают по всему свету и не задерживаются на одном месте. Если желаешь увидеть разные болезни, надобно странствовать вслед за ними: в дальних странствиях многое узнаешь и научишься многое различать». «Пожелаешь отведать жаркого, мясо для него прибудет из одной страны, соль — из другой, приправа — из третьей. Если разные вещи должны странствовать, прежде чем достигнуть нас, то и ты странствовать должен, чтобы обрести то, что не может само прийти к тебе». «Книгу изучают, переходя от

букв к словам, природу же — переходя из страны в страну, а страна каждая точно страница. Перед нами лежит книга природы, и нужно переворачивать ее страницы».

В этих отрывках чувствуются макрокосмические устремления: это взгляды, наиболее характерные тогда для Гогенгейма, совершенно новые, совершенно чуждые как схоластическому и евангелическому, так и гуманистически-буржуазному и мистическому мировосприятию, взгляды, которые в таком первоизданном виде вновь встретятся, возможно, только в «Пра-Фаусте» Гёте. Ибо любознательность следующих трех или четырех поколений естествоиспытателей, среди которых мы упомянем имена Конрада Геснера, Себастьяна Мюнстера, Георга Агриколы, Кеплера, Лейбница, Галлера, заставляла их гораздо в большей степени, чем Парацельса, при поиске и накоплении знаний вновь обращаться то к книгам, то к мистическим идеям мироустройства или углубленному самонаблюдению, то больше к частным материям, то к обобщающим трудам. Ни у кого больше мы не найдем такого мощного и кипучего чувства космических сил, такой тяги к земле, но, в отличие от мистиков, без бегства от мира, в отличие от эмпириков — без пристрастия к вещам, ни у кого больше нет такой деятельной, светлой живости чувств и радостного, смелого, свободного взгляда на все создания, события, явления природы в сочетании с глубокой верой и благоговейным трепетом перед тайной. Обратим внимание на интонацию, с которой Парацельс во всех без исключения сочинениях произносит слово «природа», а также слова «искать», «исследовать» или «испытывать». Нам они кажутся привычными, даже заурядными. Современников Парацельса

приводило в ужас то, какой смысл он вкладывал в эти слова: природа обозначала теперь не понятие, противопоставленное царству Божию или царству духа, но вселенную представлений и воззрений, наделенную скрытыми силами, дышащее и манящее к себе чувства, волнующееся и беременное мироздание, до краев наполненное не только неподвижной «сущностью», но также действием и страданием. Отныне природа не только существовала, но жила, не только пребывала, но и менялась. После Парацельса она стала вместилищем всевозможных вещей и событий — совершенно был утрачен интимный трепет, с которым Парацельс воспринимал ход ее развития, и вновь ощутить дыхание макрокосма в природе удалось только Гёте, не считая, правда, певца вселенной Шекспира, у которого этим дыханием насыщен Человек. Природа у Гамана, Клопштока, Гердера — это основное духовное чувство, у Руссо — в большей степени общественное требование, точнее, требование ниспровержения общества, а не воспринимаемый жизненный мир.

Столь же своеобразны действия и способы, которыми Парацельс намерен воспринимать этот жизненный мир, те самые «искать», «исследовать», «испытывать» — уже не чтение или размышление, еще не привычное ремесло, занятие или обязанность, как в позднейшее время, но неистовое погружение и восхождение, одновременно голод и пища, возвышенное любопытство и тяга к открытиям. Чем для Лютера была вера, для Канта — познание, чем для Гёте были стремление, духовное страдание или высшее счастье жизни, пафос миропреобразования, тем для Парацельса был опыт — больше, чем для кого-либо из его соотечественников... Испытать, исшагать, исходить!...

Так как Парацельс искал природу по всему миру, и во всем мире — природу, а именно силы и соки, основы и истоки, растения и явления, то он лишь мимоходом заглядывал в места, куда устремлялись другие школяры — в университеты, оплоты традиций, благоденствия и высокомерия, которые изгоняли все, что не было образованным, приглаженным и упорядоченным, и прежде всего исследовал тайны народа, вызванные нуждой, древние темные суеверия, неизвестные или забытые приемы и снадобья из глубокого прошлого, изучал даже презираемых и внушающих страх, отбросы общества, цыган, ведьм, евреев и палачей, все места и сословия, в которых недуги проявлялись отчетливее и первозданнее или где, не затронутое и не смущенное блеском и спесью просвещенных, начитанных, благопристойных людей, обнаруживалось инстинктивное знание, предвидение и наблюдение, связь с травами, зверями и камнями, пусть даже в таких неприглядных формах, как заблуждение, нечистая сила, колдовство и слухи. Тайное знание наделяло его могуществом одновременно ученого и целителя, и Парацельс по сути исполнял обе эти роли. Во время своих странствий он не только бороздил безграничные просторы, но и стремился извлечь глубинные знания на свет Божий. Итак, за долгие годы, о которых имеются только отрывочные, толком ничего не проясняющие сведения в записях самого Парацельса либо случайных свидетелей, он объехал все немецкие земли, Италию, Францию, Англию, Нидерланды, Испанию, Португалию, Швецию, Литву, Польшу, Валахию и турецкую часть Балкан вплоть до острова Родос. По всей видимости, он побывал в Москве и Константинополе. До Азии и Африки он не до-

брался. Он изучил Европу вдоль и поперек, причем не просто сторонним взглядом праздного путешественника или купца, но погружаясь в самую гущу народной жизни, подобно местному жителю. В то время мало кому доводилось столько путешествовать, мало кто разделял его взгляды на путешествия... а так как изумленная толпа, встретившись с непонятным ей явлением, толкует и переиначивает его на привычный лад, из неистового исследователя и искателя знаний народная молва сделала летающего на шабаша колдуна. Это превращение, в котором равную роль сыграли вздорное злословие и неподдельный страх перед недоступным уму явлением, отмечал еще Юлиус Гартман, автор обстоятельной биографии Гогенгейма (1903): «Странствующий естествоиспытатель сделался чародеем, химик — алхимиком в поисках золота, врач с необычным подходом к изучению болезней и лекарств сделался чудесным целителем». В этом читается непровольное признание затаенной гениальности — а Парацельс безоговорочно был гением, безудержной стихийной силой Духа. Мы способны постичь другой ум, только если он сопоставим с нашим, а то, что выше нашего понимания и доступно только в отдельных проявлениях, объясняем исходя из понятных нам целей и своих неисполненных желаний. Какими заманчивыми казались многим странствия Парацельса, кто бы не пожелал пройти по его стопам, забывая о трудах и тяготах, сопровождавших его в пути, и уж разумеется, никто бы не отказался от умения колдовать — ради славы или наживы! Чернь и ученые были единомышленны в том, что Парацельс хотел невозможного и часто добивался этого. Его неслыханные поступки объяснялись посредством

домыслов и заблуждений, распространявшихся в народе. Точно так же певец и провидец Вергилий стал чародеем, мудрец Соломон — князем тьмы, а завоеватель мира Александр — легендарным императором... ощущение полноты, выходящей за границы возможного, подменялось внешними средствами власти... более великое или мудрое бытие истолковывалось как обладание некими богатствами или редкостями.

Нередко Парацельс скитался в качестве фельдшера вместе с войсками, беспрестанно рыскавшими в ту эпоху по Европе, и, следуя по пятам всадников Апокалипсиса — Голода, Чумы и Войны, — приобретал куда более глубокие познания ран и заразных болезней, чем в мирное время. В свой первый военный поход он выступил вместе с нидерландской армией в 1517 году. Все силы Парацельс бросил на то, чтобы изучить и побороть «сорок телесных недугов», и мог похвалиться серьезными успехами, в том числе в качестве хирурга... У пушек и мушкетов, арбалетов и алебард набирался он новых знаний и умений. Для него, ставившего во главу угла практический опыт, война стала лучшей школой, чем все университеты. Он безмерно расширил круг своих представлений среди ужасов войны, о которых почтенные галенисты знали только понаслышке, ибо охотно уступали честь тесного знакомства с ними презренным цирюльникам, которые, как и палачи, находились внизу врачебной иерархии, но пользовались не такой дурной славой. Именно в свою бытность полковым лекарем Парацельс положил начало объединению целительства и хирургии, обследования и практики, которые прежде рассматривались в отрыве друг от друга. Мы еще вернемся к основным взглядам Парацельса от-

носителем связи между больным и болезнью, недугом и телом, явлениями и веществами; пока отметим лишь, что уже в качестве хирурга он в первую очередь обращал внимание не на отдельные симптомы, а на нарушенное равновесие сил, постигал происходящие внутри процессы и лечил тело как единый живой организм, уходя от таких принятых «наружных» способов лечения, как иссечение, прижигание, вытяжение.

Невозможно представить себе ту безудержную страсть к труду и накоплению опыта, что овладевала Парацельсом. Куда бы ни завела его судьба, всюду он находил, чему можно научиться, во что вникнуть, что использовать в своих изысканиях. Парацельс не обходил стороной университеты, попадавшиеся во время странствий ему на пути, хоть еще со времен своего студенчества утратил надежду научиться в среде ученой братии чему-то новому. Он побывал на медицинских факультетах в Вене и Кёльне, Париже и Монпелье, бывшем в ту пору всемирно известным центром галеновской науки. Парацельс посетил университеты Падуи, Болоньи, Феррары, где уже пробивались первые ростки свободомыслия... с похвалой отозвался о феррарце Джованни Майнарди... но нигде он не мог найти «основание медицины», где бы результаты исследований опирались только на книги. Эту основу Парацельс усматривал в силах природы, а не в понятиях и представлениях, в наблюдении и практическом умении, а не в сухой теории. Затем он снова вернулся к изучению горного дела, главным образом на рудниках в Скандинавии, чтобы расширить свои познания в минералогии и достичь совершенства в спагирическом искусстве. Спагирия — это термин, по всей видимости, составленный

им самим из двух греческих корней *σλαβ* и *ἀγείρειν*, извлекать и собирать, и обозначавший искусство изготовления настоек на основе металлов, побочную ветвь растительной фармацевтики. Занятия, начатые еще в Филлахе, он продолжил в Швеции, затем в Мейсене и Венгрии. Однако его интересовали не только различные виды руд, способы их добычи и применения; следуя своим новым взглядам, он пытался проследить влияние металлов и испарений на работников, изучал образ жизни, внешность и походку горняков и тем самым первым пришел к мысли ввести на производстве методы, обеспечивающие гигиену труда. Парацельс, первый мыслитель в медицине, угадывал взаимосвязи между неразумной, вечно живой матерью-природой и человеческим поведением или недугами, с чутьем, свойственным народу. Звери чуют нутром и шкурой, у Парацельса был чуткий ум. Поэтому он пристально изучал все народные средства и приемы врачевания, которые могли бы дать ему ключ к разгадке этих взаимодействий. В трактирах и на постоянных дворах он обыкновенно предпочитал общество простолюдинов, надеясь перенять их опыт. От своих собратьев по цеху он не узнал бы ничего нового. В его народолюбии, сознательном и неосознанном, обнаруживается не только подлинный христианский дух (*Christengeist*), дух Христа (*Christusgeist*), который преисполнял Парацельса — с его смирением, чувством собственного достоинства и любовью к ближнему, — больше, чем какого-нибудь ярого поборника протестантской или католической веры того времени, за исключением Себастьяна Франка... в нем силен также природный дух, порыв человеческой мысли, пробивающейся из неиспорченных человеческих умов на

свет божий. У возчиков Парацельс выспрашивал рецепты мазей, которыми вылечивали потертости у лошадей, от кузнецов узнавал о меди, останавливающей кровь, и о прижигании ран... в то время почти в каждой гильдии ремесленников имелись свои особенные способы лечения профессиональных недугов, а пестрота ремесел и сословий в городах позднего Средневековья, сохраняющих обособленность и самобытность, еще не испытала на себе уравнивающее влияние свободного духовного обмена эпохи Просвещения. Наряду с общепринятыми схоластическими и религиозными представлениями повсюду еще встречались разнообразные, любовно лелеемые, восходящие к древнему язычеству тайные приемы и средства — иногда замечательные догадки, а иногда предрассудки, которые живы и по сей день, робко или настойчиво всплывая где-нибудь в глуши или среди малограмотных городских низов. Но тогда на их стороне была крепкая вера, а на стороне противников не было сильной и признанной науки: последняя вообще проявляла мало интереса к таким вещам. Вероятно, Парацельс был единственным врачом-мыслителем Нового времени, который еще со всей серьезностью подходил к изучению этой народной сокровищницы тайных знаний, и, возможно, последним, кто знал ее в таком объеме, тем паче через призму своего восприятия, глубокого и чуткого к современной ему действительности. Ибо нельзя не увидеть разницу между тем, как исследователи фольклора, например братья Гримм, или историки науки собирают сведения такого рода, уже принадлежащие прошлому, и тем, как ученый ищет и накапливает эти знания непосредственно в работе, удовлетворяя свой живой интерес.

Говоря о языковых наблюдениях, нужно особо выделить следующую черту, свойственную Гогенгейму: подобно тому как речь Лютера стала мощной и образной не в последнюю очередь благодаря постоянному его обращению к простонародному окружению, так и Парацельсу при написании трудов пригодился запас впечатлений, собранный за время странствий. Сила и пылкость стиля определяются личностью автора, а полнота и яркость — тем, что ему довелось познать и усвоить в этом мире. В исторический период между Лютером и Гриммельсхаузенем Парацельс, вероятно, единственный немецкий автор, который больше всего видел, обдумал, перенес, говоря кратко, испытал на этом свете, больше, чем Ганс Сакс и Фишарт, которые не в пример больше читали... в особенности Ганс Сакс — скорее чистосердечный книголюб, чем зоркий исследователь жизни, хотя, конечно, и не сочинитель, витающий в эмпиреях. И все же его собственный кругозор, расширенный за счет начитанности, весьма узок, поэтому часто значимость этого труженика завышают, ставя ему в заслугу чрезвычайно обходительный нрав, искренность природы и ремесло сапожника, столь милое нашему сердцу — но рядом с Парацельсом он просто заурядный обыватель. Другой любимец германистов, Фишарт — скорее не выдающийся наблюдатель и певец жизни, а прежде всего стилист и мастер слова, сознательно работающий над формой, более близкий по духу простонародному шуту Абрахаму а Санта-Клара,* чем Лютеру или Парацельсу.

* Абрахам а Санта-Клара (1644–1709) — августинский монах и проповедник, известный своими сатирическими и курьезными проповедями.

Накопив огромный опыт в области врачевания, Парацельс тем не менее никогда не ограничивает область исследования одной лишь медициной, но всегда видит всю картину в целом, каждый симптом подталкивает его к тому, чтобы продолжить изыскания вглубь и вширь... об этом также свидетельствует стиль его письма, часто лишенного связности и четкости, всегда перегруженного смыслом и словами.

Долгие годы вел Парацельс бродячую жизнь, странствуя со своим большим мечом, в камзоле, на котором остались неизгладимые следы химических опытов; в любом окружении он обращал на себя внимание своей исключительностью — гордый и нищий среди богачей, похристиански добрый с бедняками, надменный со своими учеными собратьями, смиренный перед Богом и тварями божьими, шумный и даже необузданный в развеселой компании, бескорыстный и готовый прийти на помощь, обычно успешный в исцелении больных и потому часто приглашаемый к князьям и знатным господам, когда прочие лекари оказывались бессильны, окруженный сонмом учеников, как искренне желающих выучиться, так и любителей легкой наживы, которые хитростью выведывали его секреты и использовали в своих целях, а затем порочили его имя или вредили иным образом — зачастую это был настоящий сброд. На него смотрели как на чудо своего времени, удивляясь как его достоинствам, так и недостаткам: должно быть, от него исходила демоническая жизненная сила, которая одним, в основном старшему поколению, казалась дурной, сеющей смуту, уродливой и опасной, коротко говоря, дьявольской, другим же — притягательной, чудесной, внушающей бла-

гоговейный трепет. Если мы прочитаем бранные слова, которыми без счета осыпали Парацельса коллеги-врачи, именуя невеждой, шарлатаном, безнравственным проходимцем, самонадеянным хвастуном, нелепым пустобаем, нечестивым знахарем, и вспомним о возмутительной низости правителей, городской знати и попов, которые после благополучного исцеления вознаграждали его труд более чем скупю... если мы живо представим себе все его лихорадочные метания вплоть до самой смерти, то в его горькой и трогающей до слез судьбе мы явственно увидим воплощение следующих строк:

Где те немногие, кто век свой познавали,
Ни чувств своих, ни мыслей не скрывали,
С безумной смелостью к толпе навстречу шли?
Их распинали, били, жгли...*

Представляется, что Парацельс был одним из непризнанных великих умов... наверное, за всю историю немецкого духа это единственный случай, чтобы о таком поистине гениальном человеке с чистой, чуть не святой душой, но несдержанном на язык, веками шла дурная слава, причем не только как об ученом, но и как о личности. Да, даже самая знаменитость его возбуждала подозрения у здравомыслящих и добродетельных судей, особенно в век Просвещения. Как бы то ни было, еще при жизни он приобрел известность как успешный врач: бесчисленные нападки только лишней раз подтверждают его авторитет и могущество, не всегда открыто засвидетельствованные в дошедших до нас документах,

* И. В. Гёте. «Фауст».

но явствующие из ненависти и страха его врагов. Даже в неумеренных самовосхвалениях Гогенгейма слышится не последний душераздирающий глас вопиющего в пустыне, как «Се человек» у Ницше — нет, они заполняют собой пространство и отзываются эхом, обнаруживая повсюду внимательную и согласную, сочувствующую или недоверчивую аудиторию: «Следуйте за мной! Вы за мной, а не я за вами! За мной, о вы, Авиценна, Гален, Разес и Монтаньяна, вы за мной, а не я за вами, о вы, из Парижа, Монпелье, Швабии, Мейсена, Кёльна, и вы, из Вены, и все, пришедшие из стран, что вдоль Дуная и Рейна, и с океанских островов! Ты, Италия, ты, Далмация, вы, Сарматия, Афины, Греция, Аравия и Израиль! Следуйте за мною! Я буду монархом, и мне будет принадлежать монархия!»* Даже язвительное, но высказанное всерьез сравнение его с Лютером непроизвольно указывает на положение, которое он занимал среди современников: в нем видели ересиарха, угрозу обществу! Парацельс отклонил и это сравнение, но не из боязни прослыть еретиком и оказаться перед судом инквизиции, а в гордом сознании своей исключительности и самобытности: «Я Теофраст и превосхожу тех, с кем вы меня сравниваете». В самом деле, он единственный среди немцев того времени так мало нуждался в наставниках, примерах и образцах в полном согласии с латинским изречением «*Alterius non sit qui sui esse potest*» — «Да не принадлежит другому тот, кто может принадлежать

* Из трактата «Парагранум». Перевод отрывка цитируется по книге Ф. Гартмана «Жизнь Парацельса и сущность его учения». М., 2009.

самому себе». Притом от одиночества он не страдал, не мог пожаловаться на отсутствие признания, выделялся своей скромностью среди не увенчанных лаврами гениев, страдающих и ропщущих из-за недостатка славы и внешних почестей, хотя низкое злословие и неуклюжие происки врагов доводили его порой до белого каления.

Нельзя сказать, что современники недооценили талант Парацельса, однако личность его осталась в корне непонятой. В обстановке тогдашней немецкой общественности, отдаленно напоминающей бойкую толчею на рынке, едва ли могли появиться «непризнанные гении», мастера какого-либо искусства, которых притесняли или окружали завесой молчания — для этого потребовалась более чопорная и сдержанная, обособленная и рафинированная литературная среда позднего Просвещения, романтизма, бидермайера, которая подготовила культ «я» (Ichkult). До тех пор пока личность не начнет заботиться о собственном «я», невозможно этим «я» пренебречь или хотя бы вызвать подобное чувство. Но, пожалуй, как раз самые сильные, глубокие, свободные и смелые умы того воинственного времени, возмутители общественного спокойствия, вызывали также наибольшую ненависть, подвергались грубейшим поношениям и жестоким гонениям, несмотря на всех своих ярких приверженцев или суеверных почитателей, которые чаще всего сбивались в секты или группы. Даже Лютер был главой секты; такое же впечатление могло сложиться и о Парацельсе с его разношерстной свитой последователей, к тому же довольно малочисленных и странных. В отличие от более образованных и беззубых времен, в ту пору не особенно разбирались, где дело, а где человек. Тот, кто защищал

неугодные взгляды, неизбежно олицетворял их в глазах противников и мог не сомневаться, что его оболютят грязью и забросают камнями, которые приуготовила злоба людская. Этот варварский способ борьбы также был признанием, выраженным в неуклюжей форме, и его-то Парацельсу досталось с лихвой. Он страдал куда больше от черной неблагодарности и приступов ярости, которую у него вызывали тупость и злоба врагов, чем от самих нападков, будучи из числа тех отважных мореплавателей, кто бороздит море в шторм и без борьбы чувствует себя неуверенно. Эта черта роднит Парацельса с Лютером; как и Лютер, этот упрямец ощущает за собой поддержку Бога. Уже современникам бросилось в глаза сходство обоих воинственных преобразователей, и, подобно тому как под влияние Лютера попадали не только богословы, так и под влияние Парацельса — не одни лишь медики, поэтому новая вера и новое ощущение жизни затрагивали все и вся, каждую частичку бытия. Однако Лютер повсюду оставлял явные указания и призывы, в то время как естествоиспытатель шел более кружными и тайными путями, к тому же не имея такой опоры, как Библия. Забота о спасении души волновала обычных, но думающих и ищущих людей всё же сильнее, чем забота о телесном здоровье, и призыв к Богу звучал громче, чем призыв к природе.

Парацельс требовал от своих последователей большего знания и понимания, отличаясь этим от Лютера. И если его личность, со всеми ее светлыми и темными чертами, все же занимала умы современников, которых он в отличие от Лютера не мог привлечь своими сочинениями, этим Парацельс был обязан всему укладу сво-

ей жизни, своим странствиям ради исследований, целеительства и опыта, символическому образу беспокойного, возможно даже одержимого скитальца и чудотворца, обладающего тайным знанием или сверхъестественной силой, за которую народная молва приняла его явное знание природных сил. Медицинские факультеты, которые неоднократно добивались у властей запрета на издание его трудов, не могли посредством этого вынужденного молчания заставить померкнуть мощь личности Парацельса, заглушить его страстный голос, лишить неисчерпаемой энергии. Так же, как у Гуттена, и заметнее, чем у Франка, мировоззрение его формируется самым образом жизни, с той лишь разницей, что Гуттену удавалось находить бóльшую опору в книгах, чем Парацельсу. В то время как ученые врачи внушали уважение пациентам по преимуществу своими одеждами, красной мантией и беретом — что служило поводом для многочисленных насмешек Парацельса, который не раз указывал на то, что врачом человека делает знание, а не костюм, — сам ниспровергатель авторитетов выделялся будничной простотой своего облика, почти подчеркнутой бедностью, и завоевывал доверие окружающих, держась со всеми не свысока, а накоротке. Эту свободу в обращении ему тоже ставили в упрек, так что он был вынужден выступать не только в защиту своих странствий, но и в защиту простого платья и простых манер против спеси коллег. Однако в этом споре об одеянии можно разглядеть нечто большее, чем тщеславие и злой умысел врачей «старой закалки»: вместе с символической пышностью облика они защищали средневековую традицию освящения врачебной деятельности, ведь они тоже принадлежали

к обрядовой системе церкви, а когда Парацельс отверг их ритуальное облачение, он тем самым нарушил ритуал, как и Лютер, который взбунтовался против богатых риз и роскошного убранства церквей. Параллель между новшествами Лютера и Парацельса и их последствиями не случайна и не ограничивается внешним сходством. Как верно то, что многие из противников Лютера отличались злобностью и недалеким умом, так же верно и то, что их ненависть наполнялась и облагораживалась другим религиозным смыслом, не имевшим отношения к чертам их характера. Так и во всех нападках на Парацельса видится не сплошь глупость людская, но и свидетельство надличностной борьбы, разгоревшейся по всем фронтам — противостояния между колоссом сакральности, с одной стороны, и Духом и Разумом, совершавшими свои прорывы, с другой. В свое время Парацельс явился предводителем такого прорыва, следуя избранной линии поведения и в повседневной жизни, но тогда было еще незнакомо понятие самобытной, свободной, духовно самостоятельной, творческой личности, поэтому новатора причисляли к известным категориям: называли то шарлатаном, то колдуном, то врачом-ремесленником в отличие от врачей-ученых, прочно занимающих свое законное место. К последним Парацельс относился так же, как относился скромный проповедник слова Божьего Лютер к рукоположенным священникам, которые, облачившись в ритуальные одежды, служили Господу посредством обветшавших формул и обрядов. Тот же смысл несет использование немецкого языка, а также безмерная, сегодня едва ли понятная ярость людей старой веры как ответ на это нововведение...

Во время скитаний Парацельса часто сопровождал передвижной «факультет» из его учеников — а если он задерживался где-нибудь дольше обычного, то выступал не только в роли врача, но также исследователя и лектора, особенно в университетских городах, которые не испытывали недостатка в студентах, например в Тюбингене, Фрайбурге, Страсбурге, где тогда собирались открыть высшую школу. Его лекции, тон которых зачастую был насмешливым и дерзким, могли дополнительно подогреть ненависть профессоров к Парацельсу. В Эльзасе Гогенгейм задержался, вероятно, еще потому, что поблизости располагались минеральные источники Шварцвальда, он обследовал их и по минералогическому составу вод смог определить, что источники Вильбада, Либенцелля и Баден-Бадена имеют общее происхождение. Точные геологические исследования XIX века подтвердили эту гипотезу — что доказывает необыкновенную проницательность Парацельса как естествоиспытателя. В 1526 году он приобрел право гражданства в Страсбурге и открыл хирургическую практику; для этого ему пришлось вступить в гильдию, так называемую «Люцерну»,* куда входили торговцы мукой и хирурги. В то время медицина и хирургия были так строго разграничены, что выпускники некоторых медицинских школ должны были торжественно отречься от занятий хирургией. Парацельс же почитал обязательным соединение двух профессий — хирурга и физиолога, — и хотел, со своей стороны, изжить представление о хирургии как о низком ремесле цирюльника и поднять ее до уровня признанного искус-

* От *лат.* *lucerna* — «светильник, лампада».

ства целительства и врачевания: «Если физиолог не является вдобавок хирургом, пред больным он оказывается дурак дураком, не более чем напыщенным зазнайкой». В Страсбурге он снизошел до участия в открытом диспуте с представителем академической галеновской школы Венделином Хорхом, в результате чего победу праздновала университетская братия. Здесь же он впервые испытал на себе пресловутую неблагодарность пациентов, когда маркграф Филипп Баденский, исцеленный им от дизентерии, не заплатил оговоренный гонорар — такой обман преследовал Парацельса всю жизнь. Люди не считали себя обязанными врачу-одиночке, которого резко критиковали со всех сторон, и предпочитали платить официально практикующим лекарям. В ответ на низость вельможи, которую страсбургские враги целителя встретили с восторгом, Парацельс заклеил его в одном из своих предисловий: он-де обманул его хуже, «чем еврей, который весь мир одурачил». Однако приглашение к высокопоставленному подлецу свидетельствует о растущей славе Парацельса как хирурга. Из Страсбурга его вызвали в Базель к тяжелобольному, многое вытерпевшему от неумелых врачей книгоиздателю и гуманисту Фробену, другу Эразма Роттердамского. Парацельс спас его от ампутации, вновь поставил на ноги и удостоился его дружбы, а в лице знаменитого Эразма, частого гостя в доме Фробена, приобрел покровителя и даже, после осмотра его Парацельсом, восторженного почитателя. Эразм выразил пожелание, чтобы врач переехал в Базель, и магистрат Базеля — вероятно, по протекции двух пользующихся уважением пациентов, — предложил Парацельсу занять должность городского врача и одновременно

возглавить кафедру на медицинском факультете. Парацельс приехал. По-видимому, особенно он был обласкан в кругу лютеран под предводительством Эколампадия,* которые чутьем угадывали в новаторе единомышленника, хотя Парацельс ни прежде, ни потом не принимал участия в религиозных распрях и не проявлял большого интереса к богословским спорам.

Базель — единственное место, где Парацельс уже в зрелом возрасте задержался на длительный срок, но и здесь непрестанно разворачивались сражения и бурлил водоворот жизни, который был и его характером, и его судьбой. Прежде всего волну возмущения подняло уже само его назначение городским советом в обход университетской коллегии врачей, и факультет воспротивился тому, чтобы допустить к чтению лекций отъявленного ниспровергателя основ. Магистрат удовлетворил ответную жалобу Парацельса и защитил его право на занятие должности, после чего местная профессура начала полуконную, полутайную травлю непрошеного гостя, которая омрачила ему жизнь в Базеле и в конце концов внушила отвращение к этому городу. Его еретические учения, независимые исследования и опыты, чуждые или враждебные книжной учености, вызывали куда меньшее негодование, чем его поведение в роли врача или профессора, простая рабочая одежда вместо мантии, отказ от напускной таинственности, важности и пышности, приличествующих званию. Еще раз подчеркнем: эти особенности внешнего свойства не являлись основанием,

* Иоганн Эколампадий (1482–1531) — немецкий богослов и реформатор, сподвижник Ульриха Цвингли.

настоящим или вымышленным, для критики лично Парацельса, но затрагивали суть вещей. Новая жизненная позиция открывала новый жизненный смысл, а прежняя наука, основанная на ритуалах и авторитетах древних мыслителей, давала отпор бушующим жизненным силам природы и человека, которые нашли воплощение в Парацельсе.

Важнейшее его новшество — введение немецкого языка как языка преподавания в немецком университете. Он первый из профессоров, кто отважился на такой шаг, и долгое время никто не решался последовать его примеру — здесь мы также видим прорыв самобытного ума через преграды условности, победу развития над законченностью, природы над обычаем. Мощь немецкого языка, раскрывшаяся в сочинениях Лютера, верно, помогла и ему впервые развязать язык, как прежде — Гуттену, Авентину* и Франку; правда, Парацельс мог быть знаком с трудами реформатора хуже, чем они, зато его собственная неистовая душа должна была раньше или позже направить его в лоно родного языка. Он даже меньше опирался на письменную традицию, чем упомянутые гуманисты, и обладал меньшим писательским тщеславием. И уж точно не стремление к лютеранству побудило его ратовать за использование немецкого языка. Как раз в Страсбурге и Базеле и раньше были известные проповедники, говорившие на немецком языке: Гейлер фон Кайзерсберг и Эберлин фон Гюнцбург. И все же мирской поступок Гогенгейма остается беспримерным,

* Иоганн Авентин (1477–1534) — немецкий гуманист, историк и филолог.

и объяснение ему, разумеется, следует искать не в простом подражании, а лишь в единой движущей силе: велении его души и требовании его дела. Для обозначения всего нового, что он познавал — это ведь были силы и явления, а не философские тонкости, — формульных и производных латинских выражений, принятых в схоластике или гуманизме, было уже недостаточно, но зато из общения с народом во всем его многообразии он заимствовал полнокровные слова, живые сравнения и образы. Он вмещивался в пока еще нетронутый запас представлений грядущего дня, с которым его связывало тесное взаимодействие... и подобно тому как его взгляд, проникая через стены понятий, пробивался к неприкрашенному течению жизни, так и его язык пробивался через традиционную научную латынь к неприкрашенной речи. О стиле его скажем позже! Причину, побудившую его к этому нововведению, он назвал сам: он хотел однажды покончить со скрытничаньем и обособленностью ученого мира, и если Лютер извлек из-под спуда Библию, этот путь к спасению души, охранявшийся кастой избранных, и открыл его простым христианам, то Парацельс желал проложить путь к телесному благополучию для всех и каждого... в ответ раздались такие же возмущенные возгласы об опошлении, осквернении святости и принижении особой чести. Усилия его были направлены вовне, на донесение знаний до каждого: «Замысел мой в том, чтобы разъяснить, что требуется от врача, и все это по-немецки, чтобы это знание могло стать всенародным». Следовало читать его книги, чтобы уяснить себе его убеждения, не позволять сбить себя с толку шумихой, поднятой вокруг того, что он один, он делает все не так как

все, он немец, и не попадаться на удочку рядовых врачей с их прельстивыми речами и пустой болтовней: «Говорить с ними — то же, что с монашками псалмы распевать, этим монашкам только напев и потребен, под который псалтырь петь, а сверх того они ни бельмеса не смыслят». Его упрекали в знахарстве, окутанном завесой тайны, но, как нельзя более далекий от этого, он был скорее просветителем, который стремился собрать плоды своих трудов и сделать это знание всеобщим: первейшим условием для этого было использование немецкого языка. Сто пятьдесят лет спустя поступок Парацельса, тем временем изрядно подзабытый, повторил юрист Томазий в городе Галле, первый «просветитель» в более узком смысле.

Сильнее этого стремления Парацельса была только движущая им сила: «Я пишу по-немецки... итак, у нас есть переживание... когда нечто новое зарождается, не должно ли называть его новым именем?» Ощущение новизны, гордость одинокого странника и первопроходца, опередившего свое время, требование новых мехов для молодого вина — эти чувства так ясно и убедительно не высказал больше ни один современник Парацельса, включая Лютера. Лютер желал возродить древнее Слово Божье, гуманисты — древнюю подлинную латынь, и, отринув схоластику, они тянулись в прошлое, к тому минувшему или вечному, что прежде было лишено всего наносного. Возможно, этот пафос обновления у Парацельса — вообще первый пример такого образа мыслей в Германии, и связан он с новым языком. Обвинение в том, что он говорит по-немецки, потому что якобы плохо знает латынь (еще позднее выдвинутое досточтимым Конрадом Геснером), вызывало у Парацельса лишь

насмешливую улыбку... как Лютер был искушен в схоластическом богословии, так и он обладал ученостью своих противников, разбираясь в общих понятиях и принципах, хотя и не вникая в изощренные тонкости, на которые так любят ссылаться старые ученые-среднячки, когда затмевающий их молодой ученый отторгает принятые обычаи и покоряет просторы, которых они не бороздили еще на своих челнах.

Поначалу эта борьба против Парацельса, которая разгорелась при его появлении в Базельском университете и внешне казалась проявлением личной вражды, была борьбой идей, а не только прозаичным соперничеством, как легко предположить в наш век экономики. Не все врачи, нападавшие на него, были ничтожными завистниками и подлецами. Многовековая прославленная традиция медицины, бывшая не только ремеслом, но и верой, точно так же не могла отступить перед нечестивым и нетерпеливым зачинщиком, не дав ему сражения, как церковь — перед лютеранством. Однако верно и то, что сюда примешивалось немало мелкой зависти, и враги Парацельса не брезговали никакими средствами. Его появление грозило больно ударить по кошельку лекарей из другого лагеря, так как к нему стекались больные всех званий и сословий, лекции пользовались неслыханным успехом, а в довершение всего он, пользуясь своими полномочиями городского врача, ввел строгий надзор за аптеками города: снизил цену на лекарства, пытался пресечь необоснованную и разорительную волокиту и запретить спекулятивные сделки между аптекарями и врачами. Что бы он ни делал, он покушался на тайны врачебной гильдии: распространял в народе медицин-

ские знания, дешевые или бесплатные лекарства, ведь он всегда уклонялся от того, чтобы давать негласным обществам клятву хранить тайны своего ремесла. Он хотел принести исцеление — как можно большему количеству людей, как можно доступнее, как можно проще. Тогда его лекциям стали чинить препятствия, попытались очернить его имя, осудить его личность и облик и всячески отравить ему жизнь.

Для будущих поколений эти нападки оказались благотворны в том смысле, что они только подхлестывали Парацельса и позволили сложиться ему как писателю и оратору: без устали отвечал он на каждое нанесенное ему оскорбление — с лютеровским боевым задором и серьезностью, которая больше трогает душу, чем выпады Лютера, ибо порождена глубочайшим одиночеством. Он сам написал несколько «Слов в защиту»,* которые, наряду с жалобами и обличениями Гуттена и памфлетами Лютера, представляют собой одну из наиболее глубоких исповедей немецкой мужественности той эпохи и еще убедительнее показывают вторжение гордой и страстной одинокой души в немецкий мир, ее бурлящую гордость, яростную боль, неугомонное знание, ее предвидение. Этими свидетельствами мы обязаны врагам Парацельса. В его трактатах щедро рассыпаны порой пристрастные, но вместе с тем отважные признания, касающиеся его принятия или отвержения обществом. Вот что делает сегодня его наследие таким притягательным, а вовсе не одни лишь заключенные в нем сведения. Речь отнюдь не

* Полное название — «Семь слов в защиту. Ответ на некоторые измышления недоброжелателей».

идет о том, что для науки вообще личный стиль письма предпочтительнее беспристрастного: Гегелю и Ранке с их спокойствием удалось ближе подойти к пониманию мудрости и истины, чем Шопенгауэру и Трейчке со всей их горячностью. Но первые проблески и трепетные движения освобожденной души, в стародавние лютеровские времена воспаряющей над бесформенной материей, доставляют нам радость, ведь прежде чем наука смогла невозмутимо пойти своим путем, следовало проторить этот путь титаническими усилиями отдельных людей, и к этим первопроходцам мы обращаем свои взоры... для нас важнее они сами, нежели их цели, ибо они открывали не только новые знания, но и новое человечество. Когда свобода личности обеспечена в полной мере или даже бьет через край, вплоть до распушенности, как в эпоху романтизма, общество больше нуждается в людях делового склада и блюстителях порядка, чем в ярых поборниках и ревнителях какого-либо дела.

Приведем несколько примеров воинственного стиля Парацельса, одновременно раскрывающих суть обвинений, на которые он отвечал с чувством собственного достоинства — завистники сомневались в ученой степени Парацельса, ссылаясь при этом на его нищенские одежды, а он защищался: «Я хвалю спагирических врачей (работающих в лаборатории алхимиков — Ф. Г.), ибо они не расхаживают в праздности, пышно разодетые в шелк, бархат и тафту, с золотыми перстнями на пальцах, с серебряным кинжалом на боку, в белых перчатках, но терпеливо трудятся днем и ночью... Итак, они не прогуливаются без дела, но досуг свой проводят в лаборатории, облачаются в скверное кожаное платье, и развешивают

шкуры, и носят передник, о который вытирают руки, суют пальцы в угли, отбросы и грязь, а не в золотые кольца, покрываются копотью точно кузнецы и угольщики». «Что же касается мечтаний и грез, то это приятная, нетрудная работа, не оставляющая на руках оспин». «Рогатые* ученые школяры, разодетые лекари — если бы они не ходили разряженными, как на масленицу, кто бы признал в них врача?.. Врачу подобает ходить пристойно одетым, облаченным в мантию на пуговицах, в красный капуций и только красный (почему красный? верно, крестьянам взор тешит), волосы расчесаны гребнем, а на волосах берет красный, на пальце — перстень с бирюзой, смарагдом, сапфиром, ну на худой конец со стеклом; так больные скорее уверуют в твое умение. А камни тем превосходны, что при виде оных в сердце больных воспламеняется любовь к тебе; о наш драгоценный, наш любимый господин доктор! Неужто это физика? Неужто это клятва Гиппократова? Это хирургия? Это искусство? Это основа основ? Бело, да не серебро!»** Этот отрывок выдает в авторе усердного труженика, который во всем ищет причину, первоисточник, смысл. Внешняя пышность, не рассчитанная на его бурное и по-юношески свежее восприятие, раздражает его в то время, когда должна прельщать и ослеплять... Но какое у него чуть ли не сценическое понимание смысла и значения платья! Какие поистине лютеровские и даже больше, чем лютеровские, духовные искания при совершенно приземленном, кре-

* Видимо, речь идет о средневековой шапке, украшенной «рогами».

** Из трактата «Парагранум».

стьянском взгляде на мир! Для него не существовало отдельных внешних проявлений, которые не сообщали бы ему скрытого за ними образа мыслей: каждая такая фраза выдает в стилисте еще и врача, видящего за симптомами жизненные процессы, все едино, высмеивает ли он своих недругов или унижает.

Вначале Базельский городской совет добился для Парацельса возможности преподавать, невзирая на происки его врагов. В объявлении на латинском языке, вывешенном им на черной доске 5 июня 1527 года, был обнародован не столько перечень лекций, сколько его научные принципы: он намерен объяснять не труды классиков, а Природу, воспитывать не велеречивых докторов медицины, но сведущих в медицине врачей, учить не на основе Гиппократа и Галена, а на основе собственного богатого опыта и напряженного труда, плоды которого представлены в его сочинениях. Чуть позже в этом же году, в Иванов день, проходя мимо университета с несколькими студентами, он бросает в горящий костер «Канон врачебной науки» Авиценны. Его противники вспомнили о сожжении Лютером папской буллы об отлучении от церкви, возможно, Парацельс и сам имел в виду тот поступок: таков был отказ от старой естественной науки. В роли наставника он старался воспитать в своих учениках определенный образ мыслей — он водил их в госпитали к больным, отправлялся с ними на природу, показывая травы и минералы, открывал для них двери лабораторий, все дальше от трудов схоластической науки к созданиям, явлениям, порождениям природы. Он также заострял их внимание на нравственно-религиозной стороне врачебного искусства, понимаемого как целитель-

ства, внушал им отзывчивость, доброту, любовь: «Дабы вы знали, как помочь ближнему, если омрачит жизнь его недуг, а не затыкали себе нос, как делают писцы, священники да левиты; нечего искать у них помощи, а идти надобно к самаритянам, которые весьма сведущи в природе — у них обретешь знания и помощь. Да запомните, что нет ничего, что было бы больше любви, коей сердце врача преисполнено». Душа его, лишенная догматической косности, проникнута представлениями и требованиями христианства, истинным францисканским мировоззрением... и даже его великие мысли идут от сердца. Не сбрасывая со счетов глубоких познаний Парацельса, можно сказать, что во многих случаях успех его лечения был предопределен почти мистической симпатией, сочувствием, именно той «любовью», которую он воспекает и к которой призывает — знанием изнутри. Он проживал совершенно иную по существу жизнь, нежели его современники, за исключением мистиков... мистика, которая приводила последних к глубинам души, у него распространялась на область телесности. Говорят, что Парацельс чутьем догадывался о недугах. Его благочестивый призыв к заботе о теле и душе звучал не только на словах — он сам претворял в жизнь то, чему учил других.

С учениками он держал себя по-братски или по-отцовски, некоторые жили у него и помогали ему переписывать рукописи либо выполняли подсобную работу, он же часто примерялся к уровню их знаний, участвовал в кутежах, подтрунивал над ними и, вероятно, добавлял к их заблуждениям, вызванным невежеством, еще и страх перед своими тайными силами и колдовскими умениями. Однажды его ассистент Опорин, впослед-

ствии известный базельский книгоиздатель, позволил себе пошутить в подобном роде и создал Парацельсу дурную славу чернокнижника. Вообще говоря, во многих ложных слухах, которые запятнали его имя вплоть до наших дней, виновны не столько его открытые враги, сколько пестрая толпа учеников. Новизна, охват и сущность его научного учения настолько опередили свое время, что многие просто не были способны сразу правильно его постичь, в особенности рядовая школярская молодежь: вот почему они ухватывались за то внешнее, что его выделяло, за то иное, что бросалось в глаза, за новое, что возбуждало любопытство, не улавливая подразумеваемого смысла, причины, взаимосвязи. Что в учении Парацельса было доступно для подражания, передачи, воспроизведения, в отрыве от его собственного духа в самом деле легко превращалось в незрелое знахарство, дешевые кунштюки, что уж говорить о корыстолюбивых проходимцах, которые только стремились выведать секреты мастера и урвать свою долю от славы его новой школы. Парацельс не только обладал кипучим и глубоким умом, но и подвергал всё в высшей степени добросовестной и тщательной проверке... несмотря на беспощадную бдительность врагов, при всей обширности его врачебной практики до нас не дошло сведений о случае, который мог бы бросить тень на его знания и совесть: все обвинения ограничиваются общими выпадами против его учения, методов преподавания и мировоззрения, лишь однажды ему приписали смерть пациента, но и здесь не обошлось без клеветнических измышлений. Однако ученики его, пожалуй, вполне могли пустить дурную молву о парацельсианстве. Парацельс

считал, что если даже из двенадцати апостолов Христа один был предателем, то насколько же их больше среди людей! Как из-за корыстолюбия предали Спасителя, так и медицину может постичь та же судьба.

Все время, что он преподавал в Базеле, против него неустанно строили козни, а его смелый, беспечный и пылкий нрав то и дело давал к тому новые поводы. Дошло до того, что на дверях церкви вывесили подлые анонимные стишки настолько оскорбительного содержания, что он был вынужден потребовать у городского совета сатисфакции — впрочем, без особого успеха. Если ему не перестанут докучать, предупредил Парацельс, дело может плохо кончиться. Эти распри повлияли на общественное мнение, и даже городской совет, вначале оказывавший Гогенгейму поддержку, утратил в нем уверенность, а его непрестанные требования, запросы, призывы, ниспровержения и реформы, видимо, в конце концов и без того настроили против него степенных базельцев, увидевших в нем склочника и возмутителя спокойствия. Когда при помощи трех пилюль с опиумом Парацельс в короткие сроки вылечил богатого базельского каноника, от которого уже отказались другие врачи, пациент отказался заплатить ему условленную сумму сверх общепринятого гонорара. Возмущенный врач возбудил против него иск, но проиграл дело. Чаша терпения переполнилась, Парацельс припомнил все нанесенные ранее обиды и обнародовал памфлет, направленный против судей и вообще всех своих противников, что сделало невозможным его дальнейшее пребывание в Базеле. Ночью он покинул этот город — единственный, который давал ему приют в течение более чем двух лет и заставил его изменить своим

бродяжническим привычкам: так же как и Ницше, ему суждено было оставаться не базельским профессором, но скитающимся бунтарем и смутьяном в глазах косной, сытой и невзыскательной общественности. Его высокомерие, ярость, неугомонность еще усилились, когда он был вынужден признать, что официальные должности закрыты для его нового знания. Он окончательно отказался от попыток повлиять на старую медицину силами академического образования и направить ее приверженцев на путь истины: его смелое предприятие показало, что одни относят эту затею на счет его чрезмерного самомнения, другие — безрассудства, третьи — глупости. «Истинно то, что каждый судит Теофраста по тому, что он сам знает. Кто развращен философией, тот не войдет в сию монархию. Те, кто в медицине суть гумористы,* не будут восхвалять Теофраста: кто неправильно судит об астрономии, тот не усвоит ничего из того, что я ему скажу. Странно, ново, диковинно, неслыханно — вот что говорят, будь то моя физика, моя метеорика, моя теория, моя практика. Как же могу я не казаться странным тому, кто никогда не менял убеждений своих. Меня не пугает все множество трудов Аристотеля, и Птолемея, и Авиценны. Однако меня пугает враждебность, которая то и дело встает на пути. А еще не к месту являются право, обычай, порядок — „юриспруденция“, как они именуют ее. Если кто отмечен дарованием, тот таковым владеет: у кого же нет к сему призвания, того мне призывать нет нужды. Да пребудет с нами Господь, защитник и заступ-

* Последователи учения о четырех соках человеческого тела.

ник наш в вечности». Так он завершает вторую часть трактата «Парамирум».

Изгнание из Базеля, где Парацельс успел уже привыкнуть к публичному представлению и разъяснению своей науки, подтолкнуло его к раскрытию писательского дарования. Возмущение — прекрасный наставник для пламенных душ; подобно Лютеру и Гуттену, Парацельс также впервые обрел красноречие, вступив на путь опасностей и невзгод. Он, правда, не был ни проповедником, ни рыцарем в отличие от вышеупомянутых гуманистов, которые оба прошли школу вдохновенного, могучего слова: для первого это была Библия, для второго — труды Вергилия и Цицерона. Парацельс учился в лабораториях неразговорчивых алхимиков и у безмолвной матушки-природы, книги же были ему противны, а по собственному почину он никогда не впадал в ораторский пыл. Но то, чем полно сердце, просится на уста, а поделиться множеством видений, новыми взглядами, предположениями, планами он мог не только у постели больного! Следовало распространить новые познания в медицине как можно шире — так он пришел к преподаванию, затем к написанию книг. Один из его учеников живо описывает, как он глубокой ночью диктовал свои трактаты в лаборатории, будто одержимый демонами... забывая о времени и месте, еде и питье. В самом стиле его речи проступает кипучий, переливающийся через край пыл... мысли сталкиваются, чувства накаляют их — более подробно я скажу об этом позднее. От избытка мыслей он был косноязычным, «запинался», по его собственному выражению, но поскольку безупречное мастерство и вполнину не столь важно, как внутренняя мощь лич-

ности, чтобы называться писателем, по меньшей мере в немецкой культуре, то его можно причислить к одним из наиболее крупных немецких авторов лютеровской эпохи. Если будет дозволено провести подобное сравнение, то Парацельс занимает такое же место (в смысле духовности, а не рода деятельности) рядом с Лютером, как Грюневальд — рядом с Дюрером... предстает более темным, диким, страдальческим, однако, возможно, также более насыщенным и пламенным. С тем только отличием, что Парацельс не так хорошо владел словом, как Грюневальд — кистью.

В своих обвинениях, поношениях и исповедах Парацельс достигает вершины красноречия, ничем не уступающего лютеровскому, и только гнев впервые по-настоящему окрыляет его. Свои знания и взгляды, для которых, правда, у него в отличие от Лютера не было нужной опоры и образцов, он не мог выразить так же ясно и уверенно, как свою ярость и свою веру. Жанр немецкой богословской прозы, содержащей поучения, осуждения и молитвы, существовал уже давно, научную еще предстояло создать. Позже мы увидим, с какими муками рождалась она у Парацельса, взявшего в качестве основы язык теологических трактатов и устную речь. Связующим звеном между старой богословской и новой научной прозой стала полемика. Еще неизвестно, оказалось бы в нашем распоряжении столько сочинений и так живо написанных, если бы не жестокие обиды, которые развязали Парацельсу язык... быть может, всего несколько трактатов и наставлений. Глубокий отпечаток его личности несут написанные им защитные речи, в которых раскрываются одновременно его сердце и ум, воля и душа.

Из Базеля Парацельс направился в Кольмар, а оттуда в Энзисгейм, вероятно, желая посмотреть тамошнюю природную достопримечательность — огромный метеорит. Он исследовал и описал эту редкость; ему первому в науке удалось обнаружить минералогический состав и понять происхождение метеоритов. В Кольмаре он обрел дружеское пристанище у врача старой школы. Лоренц Фриз, противник нового учения, однако поклонник нового учителя и нового способа преподавания, по примеру Парацельса писал по-немецки и тем самым сделался его союзником и товарищем по несчастью. Вместе с тем представляется, что причиной, побудившей Фриза использовать немецкий язык, было скорее не новое мировоззрение, а гуманистический патриотизм, который, в ту пору еще редкий, в конце XVI и в XVII веке стал общим местом, соперничество неотесанного немецкого с более утонченными языками. «Думается мне, немецкий язык достоин того, чтобы описывать на нем предметы всякие, не менее, чем греческий, еврейский, латинский, итальянский, испанский, французский, на которые сочинения все перелагаются. Должно ли языку нашему хуже того быть? Напротив, много лучше, поскольку это язык исконный, а не слепленный из многих, как французский — из греческого, латинского, готского и гуннского наречий, да к тому же еще более упорядоченный». Так пишет Фриз в своем «Зерцале медицины» в 1532 году. С точки зрения словесности Парацельс немецкий язык никогда не рассматривал, только с точки зрения предмета изложения: и его патриотизм — вовсе не свойственное гуманизму соперничество с чужаками, но гордость одинокого новоявленного «я». Фриза и Пара-

цельса объединяет один мотив — исконность немецкого языка.

Во время пребывания в Кольмаре Парацельс широко занимался врачебной практикой по всему Эльзасу — скандальные базельские происшествия никак не повлияли на его известность как врача. Но подолгу он нигде не задерживался. Он отправился в Эссlingen, где нашел приют в старинном родовом поместье Гогенгеймов. Там, как и всюду, он обустроил свою передвижную химическую лабораторию, которая зачастую создавала ему сомнительную славу алхимика. Нужда гнала его дальше, в Швабию и Франконию — лечить, исследовать, учить и, преимущественно по ночам, писать. Лихорадочное напряжение, пронизывающее его труды, возможно, среди прочего — учитывая его гениальность и нрав, — объясняется тем, что писательством он занимался в ночные часы, впрочем, их мистический оттенок относится скорее не к мировоззрению, а к восприятию жизни, больше затрагивает его душевное настроение, нежели научное учение. «Всякий раз ночью, когда все живые создания предаются отдыху, безмолвны и потаенны, всего лучше и полезнее рассуждать, размышлять, воображать, также в укромных, наипаче подходящих для того местах, дабы никого не испугать и не помешать никому, при том находясь в трезвом уме». Он писал и диктовал, словно одержимый, и был так же далек от образа рассудительного и невозмутимого кабинетного ученого, как Лютер или Гуттен. Отдых от усиленных дум и неутомимых упражнений, зачастую едва оставлявших время для сна, он находил в таких же неумеренных попойках с веселыми собутыльниками. Это был человек, опьяненный ду-

шой и жизнью, если угодно — «дионисийского» склада, не обремененный трезвой заботой о внешних приличиях и сохранении лица профессии, но преисполненный душевной гордости и чувства человеческого достоинства. Ни то, ни другое никогда не было понятно членам цехов и гильдий, все достоинство которых заключалось в принадлежности к какому-нибудь объединению, не в том, чтобы кем-то «быть», но в том, чтобы «иметь», а высокомерие или зависть возникали из отношения к другим, из сравнения. Должно быть, одинокую гордость Парацельса они считали зазнайством, а его легкомысленную увлеченность и делом, и потехой принимали за наглость. Впрочем, когда мы называем его опьяненным или сближаем с мистиками, следует сразу же забыть про сумрачность, смутность и неотчетливое смятение души, о которых часто говорят в связи с мистиками — благожелательно или с осуждением. Напротив, это настоящее упоение есть не что иное, как особая ясность, живость и мощь мышления, не говоря уже об устремлениях — состояние духа, порождающее у поэтов мудрость, а у воинов доблесть, что как нельзя лучше описывается словами Гёте из «Западно-восточного дивана»: «И только захмелев, мы судим верно».* Парацельс часто выражается туманно, так как не вполне владеет средствами научной речи или не в силах справиться с невероятным объемом и размахом самого предмета, но отнюдь не из-за недостаточно ясного ума или опьянения, как бывает у мистиков романтизма и неоромантизма, у сознательных подражателей Якоба Бёме или Майстера Экхарта.

* Перевод В. Левика.

Из Швабии Парацельс перебрался в Нюрнберг, бывший тогда средоточием книжной торговли и вообще кипучей умственной жизни: там он хотел опубликовать несколько своих трудов — после утраты преподавательского места в Базеле он больше, чем когда-либо заботился о том, чтобы сохранить и распространить свое учение, но не из личного тщеславия, а по всей вероятности, из преобразовательского пыла и деятельного сострадания к больным беднякам, которых он с радостью вырвал бы из рук ученых врачей-коновалов, лишь бы слово его сумело достичь их. В Нюрнберге ему пришлось испрашивать разрешения на печать своих рукописей в имперском цензорском ведомстве, учрежденном, дабы утихомирить яростные перебранки реформаторов. Сперва разрешение было выдано для одной книги о сифилисе, издание которой казалось ему неотложным делом, учитывая опустошительную силу болезни: то был тогда не потаенный, незаметно подкрадывающийся недуг, а новая открытая и устрашающая чума, дающая богатую пищу для воображения толпы. В сочинениях Гуттена засвидетельствовано значение этого общественного бедствия. Во время путешествия в Регенсбург Парацельса настигла весть о том, что у него отнято право на издание дальнейших работ. Медицинскому факультету Лейпцига стало известно о нападках на врачебную гильдию, содержащихся в первой изданной книге, и ученые «собратья» Парацельса добились запрета остальных его сочинений, явно против всех законов и правил, как он тщетно заявлял в своей пылкой защитной речи, посвященной этой последней несправедливости. Книги печатают, чтобы донести истину до каждого человека, в своем сочинении он восстает

не против отечества и власти, а против обмана врачей, дабы избавить простой люд от надувательства, утверждал Парацельс. Эта новая травля опасного учения имела последствия для всей дальнейшей жизни Парацельса: ученый мир и государство чаще всего вставали на одну сторону в борьбе против реформатора, при жизни могла быть издана лишь малая доля его трудов... свои знания он мог излагать лишь устно или в рукописях, на манер средневековых наставников, без подручных средств, которые превращали новое образование в серьезную силу. Меры, которые обычно грозили только религиозным еретикам, здесь впервые были применены к светскому ученому, и всего лишь затем, чтобы защитить научное большинство от мирского вмешательства в их сферу влияния. Виной тому, что на печать его работ был наложен запрет, были не религиозные взгляды, лежавшие в основе медицины Парацельса, а сама его наука. Официальным поводом послужила грубость полемики Парацельса, попрание им законов нравственности, выраженное в оскорблении чести и достоинства бюргерского сословия. Однако еще больше, чем грубость и реформаторский пыл, Парацельсу повредила его самобытность. Несомненно, что имя его и труды едва ли приобрели то очарование загадочности, быть может, даже запретности, чуждости и особенности, которое окружало их на протяжении столетий и сделало его тайно передаваемые рукописи предметом вожделения и трепетно или боязливо хранимыми сокровищами, если бы с самого начала к нему отнеслись как к равноправному ученому коллеге. Он мог бы стать главой школы или предводителем секты, а книги его — ферментом общественной жизни. Но вместо это-

го он стал колдуном и одиноким негласным пророком для немногих прозорливцев и множества нищих духом, пока современная медицина не наверстала упущенное и не опередила его в своих изысканиях, а современная гуманитарная наука не открыла в нем истоки мощного духовного течения. Все эти невзгоды не лишили Парацельса мужества и ясности мысли: так же, как и Лютер, он не мог не бороться за справедливость своего опыта, а чуткий ум подсказывал ему, что заглушать свою первоизданную мудрость и невозможно, и нельзя. Вот он и кочевал с места на место, снова и снова врачую вероломных богачей, не платящих ни гроша, лишенный возможности издать свои труды из-за сговора университетов и городских властей, оклеветанный и ославленный врачами в их сплетнях, призываемый и благословляемый набожными бедняками и умными покровителями, не знающий усталости целитель, ученый и наставник.

Итак, на сороковом году жизни Парацельс прибыл в Санкт-Галлен — здесь внезапно обнаружилась религиозность, скрытая доселе в глубинах его натуры, и на время оттеснила в сторону его естественнонаучные исследования, хотя от врачебной практики он окончательно не отходил: в горных долинах Аппенцелля он оказывал помощь больным, к которым его приглашали. Но усерднее всего в эти швейцарские годы он посвящал себя религиозным борениям той эпохи, в том числе и в своих трактатах. Настиг ли его внутренний кризис во время поиска истоков божественного Слова, которое всегда сопровождало его, или внешние впечатления в крестьянской Швейцарии с ее приземленным желанием веры отвлекли его от естественной науки, дали ли здесь всходы много-

летние благочестивые размышления или же теперь, в за-тишке, после закрепления своего учения в книгах, он наконец поддался лихорадке Реформации, — все едино: на некоторое время Парацельс превращается в богослова, сохраняя и в этом качестве свою независимость и суровое, одновременно смиренное и гордое одиночество, выделяющее его среди естествоиспытателей. Он не был ни папистом, ни цвинглианцем, ни лютеранином, но, в полном согласии со своим собственным девизом «Да не принадлежит другому тот, кто может принадлежать самому себе», одиночкой, напоминаям Себастьяна Франка твердостью и поворотами судьбы, но не учением. Как и Франк, он рассорился со всеми, сначала с главами сект. С мистиками его сближали не одинаковые взгляды, но неприятие одних и тех же взглядов, не безмятежная набожность, но отрицание внешних уставов и институтов. Библейское благочестие, казалось бы, роднит его с реформаторами, но их поклонение слову и борьба за догматы были ему совершенно чужды. Житие и страсти Христовы имели для него больше смысла, чем его зна-мения, суждения и слова, бывшие предметом ожесто-ченных споров между современниками Парацельса. Он посвятил Тайной вечере сочинение, далекое от всех при-нятых тогда трактовок. Тайная вечеря для него — это не магически-объективный акт, «принесение жертвы» как «благое деяние», по мнению католической церкви, и не присутствие исторического Спасителя в хлебе и вине, согласно лютеранской вере, и не символическое воспо-минание, как утверждали цвинглианцы, но превращение природной субстанции, вместилища Бога и духа, в чело-веческую силу, семена воскресения для верующих. Веро-

ятно, его мистическое понимание этого преобразующего события — не магическое и не рациональное, — ближе всего к пониманию Лютера: однако Парацельс поклоняется хлебу и вину как природным сокам, а не как духовным знакам или историческим символам, исходя не из Библии, а из собственной медицины и естествознания — в евангельский миф он вкладывает идею о таинственном круговороте созидательных сил в человеческом теле, которое было для него подлинно божественным творением. Ни у одного из современников Парацельса и уж подавно ни у одного богослова мы не встретим такого почитания природы, такого благоговения перед развитием и силой земной, растительной и животной жизни. Он без большого труда обнаружил положения своей науки в таинствах христианства. Тем самым Парацельс приближается к первоначальному, надысторическому религиозному смыслу символов Тайной вечери, поскольку они были заимствованы из дохристианских мистерий, и подходит к мысли, изложенной в философском стихотворении Гёльдерлина «Хлеб и вино», который в своем необычайном представлении о мире объединяет христианскую религию души с античным культом природы.

Начетничество в богословии было совершенно чуждо Парацельсу точно так же, как и в медицине: он был набожен без мудрствования, прежде всего веровал во Христа и верно следовал Ему. Тайная вечеря была чувственным событием, природной тайной, и потому нуждалась в осмыслении. В то же время он отвергал папскую иерархию и святость Папы Римского, равно как и протестантскую догматику, и хотел жить по образу Христа, по возможности и здесь возвращаясь к истокам. Любовь,

милосердие и страдание — вот чем он руководствуется, христианские чувства и поступки — вот что служит подтверждением его веры, которой не требуется иных свидетельств, кроме слов Христовых, содержащих вечную жизнь, а вовсе не доктрины. Конечно, Парацельса скорее можно отнести к евангелической, нежели католической церкви — лютеранином он не был, и лютеранам он, по всей вероятности, казался фанатиком, как схоластам мог казаться лютеранином, более того — самим «Лютером». Он написал отдельный труд, посвященный критике обрядов — ему они представлялись суеверным идолопоклонством. Вместе с тем он терпимо относился к тем сторонам католического культа, которые были открыты для непосредственного восприятия и постижимы без догматических толкований или облечения в магические ритуалы: он признавал иконы и образцовых святых, а также Деву Марию, считая их даже способными сотворить чудо — преобразующие благие силы, которые он ощущал в боготворчестве и находил в своей собственной деятельности, как ему казалось, присутствовали и в жизни святых. Среди своих современников — магических, догматических, мистических христиан, — Парацельс представляет деятельное христианство, также согласно своему учению... однако не только в скупой форме заботы, как сегодня многим свойственно думать, но и в виде живой связи с раннехристианскими верованиями, окутанными католическим благоговением. Подобно тому как его исследования были пока еще не чистым рационализмом, но предчувствием и поисками тех сущностей, разумное обоснование и анализ которых в последующие столетия послужили к вящей славе науки, так и

практика его была еще не осознанной необходимостью, но настоятельной потребностью творить добро... порожденной полнотой его личности, а не необходимостью. От современных гигиенистов и филантропов научной или церковной закваски, которые воспринимают страдальцев исключительно как больной человеческий материал или как объект попечения, он отличается мощью верующего и страстного сердца, для которого пыл исследователя, жаждущего приподнять завесу тайны и владеющего сокровенными знаниями, усердные поиски Бога и безграничное сострадание — это три проявления одной воли. Повторю еще раз: он занимается не словами или предметами — как в роли богослова, так и в роли врача все внимание он посвящает силам.

Вот почему Парацельс стоит особняком, а поскольку он в свойственной ему резкой манере защищал свое мнение острыми выпадами направо и налево, очень скоро он испортил отношения со всеми — в том числе, и со швейцарскими покровителями, в особенности с благородным Цвингли. Как врач он был готов протянуть руку помощи каждому, но был непреклонен в своих убеждениях, более того — надменен со всеми, кто, на его взгляд, вел споры из-за буквы. Он был одержим немецкой самобытностью как никто другой, и самобытность эта часто прорывалась наружу в виде сумрачной одинокой мудрости, но не менее часто — в виде непристойной грубости, которая вполне отвечала духу того неучтливового времени в Германии. Папу Римского и Лютера он сравнил с двумя девками, которые стали препираться, кто из них непорочнее. Лютер якобы уродует Священное Писание, когда оно идет вразрез с его взглядами... евангелисты переви-

рают и переиначивают каждое слово Божье по-своему. «В целом, все они — паписты, лютеране, перекрещенцы,* цвинглианцы — беспрестанно похваляются Духом Святым и тем, что они одни верно возвещают евангелие, и посему вопят они: „Я прав! Мое слово правое! Я несу вам слово Божие, вот Иисус и слово Его, как я говорю вам: За мной! Я принесу вам евангелие“. А теперь посмотрите, какой мерзостью наполнены фарисеи». «Вы грешите против Святого Духа, когда говорите: я новой евангелической веры, я старой веры, я цвинглианец, лютеранин, крещенец. А все они от дьявола. Ты не внимаешь тому, что говорит Христос, и слышишь лишь то, что они проповедуют. И вот они говорят: „Христос посадил Папу Римского на свое место, Лютер — посланник Его на земле, крещенцы — мученики Его, Цвингли — апостол Его“. Это кощунство против Святого Духа». Мы должны знать богословские взгляды Парацельса, чтобы понимать, в чем сильнее всего проявляется связь этого независимого ума со своей эпохой и где он разделяет ее изъян — высокомерие верующего, уверенного в собственной правоте. Ибо порицая предводителей сект, он совершает такие же ошибки, как и они, с тем лишь отличием, что у его богословского учения приверженцев не было. Правда, христианство Парацельса, как и его наука, было куда в меньшей степени порождено мнениями и размышлениями, чем у большинства глав протестантских сект, и если основы естествознания он «испытал», изведal в пути, то и богословие его — скорее следствие

* Анабаптисты, последователи радикального религиозного движения эпохи Реформации.

деятельного благочестия, нежели толкования священных текстов. Религиозную основу своего времени — безусловную истинность христианского откровения, — он, разумеется, не мог обойти стороной и должен был принять ее, не допуская и тени сомнений. Вероятно, в ту пору лишь в Италии были возможны подлинны́е богословы-просветители и нехристианские рациональные мыслители. А так как Парацельс никогда не был склонен слепо соглашаться с мнением других или петь с чужого голоса, ему ничего не оставалось, как собственным сердцем осмыслить неминуемую христианскую веру вплоть до самых истоков и одновременно согласовать с ней свою «философию», свой опыт... вот почему он и стал богословом — скорее из потребности в гармонии, чем из фаустовской тяги к универсализму.

Однако вера и знание Парацельса могли встретиться лишь на практике. Ничто не мешало ему заниматься врачеванием в христианском духе, но обосновать свою медицину, исходя из христианских учений, он не мог: и потому богословские писания Парацельса кажутся нам второстепенными рядом с его научными трудами, подобно учению Гёте о цвете рядом с его поэзией, хотя сам он так не считал... и подобно тому как исследование Гёте относилось лишь к познанию того же Божьего мироздания, из которого вышла его поэзия, так и богословие Парацельса требовалось единственно затем, чтобы подтвердить естественную причину, побуждавшую его изучать природу на самой природе. Творец стал не итогом его опыта, а отправной точкой, и творца этого он искал в Библии. Подобное отношение смелого естествоиспытателя к положительной христианской вере повторяется в пери-

од намного более зрелой и рациональной науки: Ньютон видел в силе тяготения не конечную причину, но объяснение человеком явлений, вызванных неисповедимой, требующей принятия волей Господней. Ньютон также усердно размышлял над Библией и занимался ее толкованием. В период между Парацельсом и Ньютоном есть еще одна родственная Парацельсу душа — Кеплер, человек мирного нрава, однако преисполненный той же благочестивой гордости за свое верное понимание Божьего мира, тоже христианин и знаток Библии, ученый-провидец, зоркий наблюдатель, который также представляет собой не всегда понятный для нас сплав прямодушной веры, смелых видений и добросовестного исследования, также не вполне еще овладел подходящими средствами выражения своего опыта и часто оказывается в плену заимствованной откуда-либо символики. На этом мы закончим разговор о богословских размышлениях Парацельса.

Нищета, а также, вероятно, внутреннее призвание вновь заставили его пуститься в странствия, покинув Аппенцелль, где он по-евангельски заботился о телах и душах бедняков согласно заповеди из Писания, призывающей возвещать слово Божье. В 1537 году он вновь попадает в Филлах; к тому времени отец его уже умер. Парацельс пешком проходит пол-Австрии, оставляя по себе славу то алхимика, то врача. На некоторое время он останавливается в Мериш-Крумау,* где излечивает знатного вельможу из рода Габсбургов и пишет несколько книг, в том числе трактат о каменной или, по выражению Парацельса, тартарической болезни, ставший продолжени-

* Моравский Крумлов в современной Чехии.

ем книги «Большая хирургия». Король Фердинанд, брат Карла V, принял посвященное ему сочинение и благо-склонно отнесся к Парацельсу. Вероятно, он же пригласил Парацельса в Вену — к величайшему неудовольствию местных врачей. По просьбе управляющего рудниками Фуггеров его еще раз вызывают в Филлах, чтобы исследовать содержание золота в тамошних ручьях: ведь он был известен не только как врач, но и как рудознатец. Затем он отправляется в Санкт-Файт в Каринтии, где готовит к печати несколько книг. Но и на сей раз планы его по изданию были сорваны, несмотря на согласие земских чинов Каринтии, которым он посвятил свои труды. Как раз в это время, в 1538 году, он создает трактаты «Лабиринт заблуждающихся врачей», в котором окончательно сводит счеты со всей враждебно настроенной гильдией медиков, и «Семь слов в защиту» — полную апологию собственной деятельности. Здесь он излагает, в чем заключается новизна его знания, взглядов, способов действия и поведения, излагает с небывалой ясностью и пылом по-мужски гневного и дерзновенного красноречия, равного по мощи лишь риторике Лютера и Франка, но в бесстрашной откровенности превосходящего их обоих. Глухая к жизни ученая спесь, позорная косность, тщеславие, вызванное принадлежностью к гильдии, и бессовестное обирательство, или, как он чаще всего говорит, «обдуренье» — таковы прегрешения против морали и духа, которые он высмеивает и обличает в неизменно острых выражениях... и снова указывает на подлинные книги, которых не может заменить ни один учитель или профессор: прирожденный ум, способный к наблюдению и размышлению, природные стихии, звезды, металлы,

растения, живые существа — короче говоря, микрокосм и макрокосм, открытые для восприятия чувствами и постижения разумом. Кроме того, в сочинении «Семь слов в защиту» Парацельс рисует карикатуру на самого себя, исходя из представлений оппонентов, и одновременно настоящий свой портрет, каким он видит себя и хочет, чтобы видели другие, невзирая на все упреки в том, что он-де распространяет новое неслыханное учение, изобретает новые болезни и названия, выписывает новые рецепты, что он кочует с места на место, сторонится врачей старой школы, впадает в безудержный гнев и совершает чудачества. Приводя причины, лежащие в основе такого поведения, Парацельс превращает в заслуги то, что было неправильно понято как грехи. В седьмой части трактата он смиренно и благочестиво признает и свои недостатки: «Ведь и я умею, знаю и могу не все, что каждому в нужде его потребно».

Парацельс еще раз покидает свою вторую родину, Каринтию, и отправляется в те края, куда знаменитого врача призывают больные, навещает Мюнхен, Аугсбург, Грац и Бреслау и, наконец, в 1541 году прибывает в Зальцбург. 24 сентября, после длительной болезни, он умирает как добрый христианин, объявив свою последнюю волю. В тот же день его похоронили при большом стечении народа.

Благодаря своему исключительно своеобразному характеру, странному образу жизни и необъяснимым случаям исцеления больных Парацельс, грешник или святой, глубоко поразил воображение современников и, как и доктор Фауст, в самый расцвет эпохи Реформации превратился в полуполюгендарную фигуру. Еще в XIX веке, во

время эпидемии холеры толпы бедняков совершали паломничества к его могиле и призывали святого чудотворца — слава о нем как о заступнике простого народа на много пережила его самого, так же как и ложные слухи о его высокомерии, шарлатанстве, оскотлении и союзе с нечистой силой, пущенные в оборот учеными братьями. Основанием для демонизации или, напротив, причисления Парацельса к лику святых послужила лишь непонятая мощь этого в высшей степени самобытного гения, который не пользовался такой популярностью, как Лютер. Именно за счет этой великой силы образ первого естествоиспытателя навсегда окружается поэтическим ореолом, как и образ доктора Фауста. Правда, историй о Парацельсе не хватило бы, чтобы составить «народную книгу», но известны отдельные схожие предания, например о его смерти, которые Фридрих Мюллер приводит в своем сборнике трансильванских легенд (Кронштадт, 1857). Когда Парацельс состарился, но не хотел умирать, дьявол дал ему совет: вели помощникам разрубить себя на мелкие кусочки, закопать их на целый год в конский навоз, а затем совершить над телом все алхимические действия... тогда ты воскреснешь в образе прекрасного юноши. Итак, он приказал одному верному прислужнику разрубить себя на кусочки и похоронить. Но слуга проявил нетерпение и вскрыл могилу на два дня раньше, чем нужно. В гробу лежал Теофраст, преображенный в прекрасного отрока, лишь кости черепа у него еще не срослись окончательно. Воздух проник ему в мозг, и он умер, так и не успев возродиться. В таких расхожих небылицах сквозит страх перед алхимиком — человеком, добившимся успеха за счет отказа от предсказуемого

жизненного пути, понятного обывателям. Это сближает его с Фаустом, который, будучи рядовой, безусловно меньшей по масштабу фигурой, не может сравниться по своему духовному и историческому значению с личностью Парацельса, но благодаря избранному образу жизни, так же как и Парацельс, стал в воображении народа и поэтов, тесно связанных с народной традицией, символическим воплощением неутомимого первооткрывателя нового типа, пускающегося в демонические поиски, подрывающего и подтачивающего устои времени. Своего Гёте для Парацельса не нашлось — вероятно, он был чересчур ярким и глубоким характером, который слишком хорошо объяснил самого себя, и поэтому, в отличие от таинственного кудесника Фауста, не мог возбудить поэтическое воображение абсолютного творца. Однако же к образу Парацельса охотно прибегают в философских притчах, драмах или романах, жанр которых позволяет использовать богатый, привлекательный сам по себе материал как есть, без творческой переработки — ради его переосмысления или создания старинного колорита.

Если говорить о следе, который Парацельс оставил непосредственно в немецкой интеллектуальной истории, то, как и для большинства выдающихся людей на заре развития немецкой нации, в первую очередь, это его личность и образ жизни, а также весьма приблизительное представление о его учении, а не собственно научные труды. Что касается последних, то они чаще всего распространялись переписанными от руки, наполовину непонятыми, а заполучить их стремились не столько из-за духовной составляющей или особого обаяния текстов,

сколько ради рецептов и приемов, которые надеялись в них найти, то есть руководствуясь теми же материальными мотивами, что при чтении сонников, книг заклинаний, календарей с предсказаниями (т. н. «практик») и тому подобной литературы, с той только разницей, что имя знаменитого ученого придавало желанным советам больший вес. Однако имя Парацельса использовалось в полном отрыве от личности, точно так же, как имя Моисея в названии шестой или седьмой книг Моисея* — мистических сочиненьиц, которые время от времени предлагают книгоноши, или как в случае с герметическими трактатами, с древности злоупотребляющими именем египетского основоположника этого учения. С равным усердием, не замечая подмены, читатели поглощали и поддельные труды, которым было предпослано магическое имя Теофраста Бомбаста Ауреола Парацельса. При его жизни были изданы лишь две работы о сифилисе в 1529 и 1530 году в Нюрнберге, несколько небольших предсказаний, исследование лечебных источников Пфэффера, магически-богословское объяснение аллегорических изображений в картезианском монастыре в Нюрнберге и труд, содержащий основы его медицинской теории — «Большая книга хирургии», напечатанная в Ульме и Аугсбурге в 1536 году; показательно, что последняя была не так распространена и пользовалась меньшим спросом, чем его книжечки с пророчествами. Первое полное издание наследия Парацельса, заслуга в сохранении которого принадлежит врачу из Хиршберга Иоганну Шультхайсу фон Берг (известному

* Древние книги по магии, содержащие заклинания и проч.

также как Иоганн Скультет Монтан), горячему поклоннику Теофраста, и курфюрсту Пфальца Отто-Генриху, знатоку и собирателю книг, было предпринято Иоганном Хузером в 1589–1590 годах, затем это собрание неоднократно переиздавалось и дополнялось поддельными рукописями. Современный всплеск интереса к Парацельсу как у исследователей, так и у последователей его учения в настоящем историческом очерке рассмотрен не будет.

Я уделяю столько внимания жизненному пути Парацельса, потому что это неотъемлемая часть его духовной сущности, больше, чем даже у Лютера и Гуттена, потому что содержание явствует из самих его работ не столь отчетливо и прямо, как у этих авторов, вошедших в историю как благодаря своей биографии, так и сочинениям, и потому еще, что его жизнеописание не так известно, не так легко укоренилось в нашем культурном сознании. В трудах Парацельса гораздо больше чисто содержательных элементов, чем в произведениях Гуттена и Лютера, — это значит, что рассматриваемые им предметы не настолько глубоко пронизаны и сформированы личным духом и стилем, как богословие у Лютера и просветительская программа у Гуттена. Вот почему жизнь Парацельса намного чаще и заметнее, чем в случае двух его знаменитых современников, помогает пролить свет на его личность и труды. Если бы мы судили о Лютере и Гуттене только на основе их сочинений, перед нами бы возникли два убедительных психолого-исторических образа. Тому, что и Парацельс открывается нам с этой стороны, мы обязаны скорее исповедальным и автобиографическим отступлениям в его книгах, нежели содержащимся в них теориям и фактическим сведениям.

Работы Парацельса, которые он сам без усталости записывал одинокими ночами, большей частью во время скитаний, либо диктовал ученикам, — это обычно или отдельные трактаты на темы из естествознания, медицины, Евангелия, или высказывания в собственную защиту против различных ложных обвинений, иногда внешне объединенные в научную систему, как, например, в «Большой книге хирургии», в трактатах «Парагранум» или «Парамирум», в «Архидоксах» («Основных началах»), в «Большой философии», но по сути дела представляющие собой краткие обобщения опыта, выводы, догадки, в основе которых, разумеется, лежит цельная картина мира. В этом его писательство сродни сочинениям мистиков, которые в проповедях или небольших нравоучительных текстах, по случаю тех или иных церковных служб либо следуя потребностям прихожан, без продуманного общего плана, но преисполненные всепроникающей веры, обуреваемые множеством мыслей, толковали отдельные Слова Божьи и разбирали важнейшие душеспасительные вопросы, иногда в назидательном тоне, иногда в исповедальном. Собственно говоря, в этом же роде были написаны и брошюры Лютера, но, атакуя или защищаясь, Лютер чаще всего преследовал определенные внешние цели, а долг адвоката понуждал его четко выстраивать аргументацию. Он был воспитан на схоластических системах и речах гуманистов и для выражения переполняющих его чувств, а также своего религиозного и церковного опыта мог обратиться к существующей традиции, что избавляло его от необходимости искать и составлять краткие и емкие формулировки. Богословские темы веками подвергались обсуждению и

пересмотру, были у всех на слуху, с давних пор породили ряд универсалий и, вопреки или благодаря богословским разногласиям, опирались на самые простые, глубинные переживания христианской души — Бога и дьявола, грех и спасение. Совершенно иначе обстояло дело с мирскими материями Парацельса: поскольку он яростно отвергал их схоластическое упорядочение, отрицал книжную теорию, господствовавшую в медицине, и соглашался полагаться исключительно на свой опыт, по крайней мере в этой области, он был вынужден без заранее намеченного плана, руководствуясь лишь некоторыми внезапными догадками и предположениями, прокладывать себе дорогу через громадные объемы сведений, большей частью впервые добытых им самим во время наблюдений, «опытным путем» — продвигаться скачками, по наитию, на каждом шагу наталкиваясь на стойкие предрассудки, в которые он сам хотя уже и не верил, но которым должен был давать отпор, что еще больше затрудняло ему поиски нужного направления. Пусть как алхимик он раз за разом выбирал путь, который подсказывал ему эксперимент, как врач следовал неизменно новым наблюдениям и своему дьявольскому чутью, — но как только он решал связать воедино множество разрозненных опытных сведений, изложить их на бумаге и передать ученикам, одной его проницательности было уже недостаточно. Мудрость действующего вытекает из момента деятельности как таковой, из всех сопутствующих ощущений, если они исполнены жизни или созидания... мудрость наставителя невозможна без неторопливого осмысления, без стержневой мысли, говоря кратко, без теории, хотя она и не должна непременно представлять собой целую

систему. Последовательное приобретение опыта немислимо без какой-либо теории, то есть взгляда в будущее, проливающего свет на путь познания, на «методу». Таким образом, Парацельс, в высшей степени самобытный и разносторонний из немецких эмпириков своего времени, еще не располагая зрелой светской теорией, оказался перед лицом необъятных новых знаний, которые ему — открывателю этих знаний, — необходимо было передать и преподать нуждающимся и с этой целью мало-мальски упорядочить. Для Германии такое положение и задача Парацельса как писателя исключительны, что вместе с тем послужило причиной для множества ложных трактовок его учения и неверного понимания его места в истории. Это положение одновременно определяет стиль и, если можно говорить об этом в нашем случае, жанр сочинений Парацельса: афористический трактат об опыте, одинаково далекий и от тщательно выстроенных научных трудов и исследований, и от сжатого изложения учебного материала, и от самостоятельно отточенной мысли ранних духоискателей и поздних хранителей духа, от проблесков и намеков Гераклита или от фрагментов и изречений Лихтенберга, Фридриха Шлегеля, Новалиса, Ницше.

Единственным в своем роде он был и для того времени: в Германии еще никогда и близко не появлялось столько новых, самостоятельных, ни с чем не сравнимых знаний, сколько этот странник, исходивший всю Европу, сумел добыть на рудниках, каменоломнях, в лесах и на лугах, на полях сражений и скотобойнях, в госпиталях и у постелей больных, не было такого количества свидетельств роста и развития здорового и больного микро-

косма, а также макрокосма в действии. Классификации, методы рассуждений, даже слова, короче говоря — основополагающие понятия прежней науки оказались совершенно непригодными для осмысления этих знаний, даже Аристотель, в коем — при условии правильного использования, — можно было бы найти опору, не вызывая доверия у новатора и обращаясь к предметам, которые для современников Парацельса превратились в застывшие непостижимые понятия, а Теофраст ведь ощущал и различал силы, взаимодействия, излучения. Уже после него в науке утвердился новый порядок, понятия и сущности перестали быть так далеки друг от друга, как в те десятилетия, когда он с таким трудом пробивал путь от чрезвычайно богатого восприятия природы к доходчивому ее описанию, от опыта к надлежащему упорядочению знаний. Правда, нельзя сказать, что последователи шли прямо по его стопам... проторенный им путь был всеми оставлен, за исключением немногих врачей-одиночек, скорее практиков, нежели теоретиков, и сомнительной кучки любителей, охочих до всякого рода чудес... но чистая жажда познания наконец объединилась с систематикой, в Германии уже в XVI веке Георг Агрикола и Конрад Геснер выстраивали естественнонаучные знания в стройную систему, правда, составляя свои работы на латыни, а затем для всей Европы наступил золотой век естествознания, то есть опытного мышления, подчиненного познаваемым и доказуемым законам, — Галилей, Кеплер, Бэкон, Декарт, Лейбниц, Ньютон, — и одновременно эпоха отвлеченной философии, которая могла справиться с любым шквалом знаний. Итак, Парацельс, имея в своем распоряжении скудный арсенал средств,

встретился лицом к лицу с несказанно богатым опытом, чего со времен ионической эпохи не случилось ни с кем ни до, ни после него. Ибо александрийская эпоха, которая испытала такой же бурный поток чувственных впечатлений, вызванных открытием нового мира, уже располагала мощнейшим орудием мышления — аристотелевской философией... и греческим языком! Итальянские мыслители Возрождения — Телезио,* Кампанелла, Кардано,** — вышли из затруднительного положения, сходного с положением Парацельса, создав похожий литературный жанр, однако они гораздо сильнее преклонялись перед книжной премудростью, куда меньше опирались на собственный опыт, чем Парацельс, а также достигли больших высот в писательстве, используя более изящный язык для выражения более тонких материй: им было меньше что сказать, поэтому говорили они свободнее. Это справедливо для самого Леонардо да Винчи... пусть даже он обладал более тонким и чутким видением, но по охвату естественнонаучного опыта Леонардо не сравнится с Парацельсом. Жанр его сочинений также близок к жанру афористического трактата об опыте.

Однако у Леонардо, владевшего более ясным и гибким для выражения новых понятий итальянским языком, не было таких сложностей, как у наследника мистического и лютеровского немецкого, языка пророков и проповедников, еще и по другой причине: когда Пара-

* Бернардино Телезио (Телезий) (1509–1588) — итальянский ученый и философ.

** Джероламо Кардано (1501–1576) — итальянский математик и инженер, ему приписывается изобретение карданного вала.

цельс пытался размышлять и говорить о том, что представляло его взору ученого, ему приходилось преодолевать противоречие, которого не знал Леонардо. Парацельс был истово верующим евангельским христианином. Богатый урожай, собранный всеми органами чувств, требовалось соединить с верой, которая если не отрицала весь чувственный мир, то по меньшей мере устранила его. Он должен был заниматься исследованием природы, в то же время подчиняясь не допускающей и тени сомнения воле трансцендентного божества, враждебного или глухого по отношению к природе. Древние естествоиспытатели, искавшие вещества, последующие естествоиспытатели, искавшие законы, наконец, ученые новейшего времени, для которых уже не существовало Бога, не знали таких мучений, как первый ученый, которого мощно и непреодолимо тянуло к природе и к Богу одновременно и который в природе прежде всего ощущал силы. Ибо силы представляют собой более своеобразную, непосредственную и живую сущность, чем вещества или законы, что сотворены Богом и могут быть собраны или выявлены отдельно от Него. В силах, правильным образом понятых, должен присутствовать Бог, или же они будут направлены против Бога... и, если только не окружать непримиримые разногласия романтическим ореолом, как это делает Шлейермахер, то никому не удастся закрыть глаза на конфликт между христианским и природным восприятием сил: истинные христиане с полным правом всегда расценивали истинный природный пантеизм как язычество. Итак, Парацельс жил именно с этим противоречием между любовью к природе и христианской любовью к Богу: он пытался объединить их

и наделить свой непосредственный опыт познания природы не только религиозной надстройкой, как Себастьян Франк — историческую науку, но и внутренним божественным основанием. И действительно, христианство можно назвать ключевой мыслью его познания, рабочей гипотезой, а Библию — светочем, в том числе и в самых сокровенных тайнах медицины, вернее сказать, блуждающим огоньком. Благодаря этому он стал одним из наиболее трогających душу ученых в истории науки, но также одним из самых сложных авторов научных сочинений. В его книгах сталкиваются не только избыток опыта с неприменимыми или недостаточными понятиями, то есть увиденное с выразимым, в них также борются две равные по силе самостоятельные сущности: несмотря ни на что могущественные, насущно необходимые знания о природе и независимая христианская вера. Подобно тому как исследовательский пыл Парацельса не угасал перед лицом схоластической догмы, подчинившейся неумолимому Откровению, так и его христианская вера не отступала перед естественнонаучным изучением мира и не шествовала смиренно своим путем, не желая ничего знать, будто это частное дело, как случалось с англосаксонскими естествоиспытателями после Ньютона, но оба они — познание и вера — с двух сторон взбирались на вершину мироздания.

Таким образом, Парацельс занимается богословием не случайно и не из личных побуждений, богословие у него есть часть универсальной науки — еще в том понимании слова «наука», какое бытовало во времена Лютера или встречается, например, в «Фаусте»: «Лишь презирай свой ум да знанья светлый луч — все высшее, чем человек мо-

гуч». Под этим подразумевается не столько совокупность знаний или путь познания, сколько объем накопленного опыта во всей полноте. Вот почему Парацельс никогда не считал себя специалистом в медицине, химии или фармакологии, каким бы разносторонним ученым он ни был, а предпочитал называться «философом»... что означает одновременно и толкователя мира в современном смысле, и исследователя природы. А именно, в предисловии к своему «символу веры» — «Большой философии», — где Парацельс ясно указывает, что не является ни пророком, ни апостолом, ни святым, он называет себя «философом на немецкий лад». Возможно, этим он желал подчеркнуть, что в богословии причисляет себя к последователям мистиков, однако, скорее всего, Теофраст имел в виду лишь того, кто говорит по-немецки и отвергает романскую, признающую неограниченную власть папства, схоластику. Подобным же образом и Якоб Бёме был прозван «Тевтонским философом».

Вне всякого сомнения, богословие ещё в большей мере помешало бы Парацельсу в его изысканиях в области естествознания, избери он исторический подход... но Теофраст рассматривал богословие исключительно в макрокосмическом и практическом отношении: природа Божьей силы в человеке и проявления небесного семени в земных делах и страстях занимали Парацельса гораздо сильнее, чем различные учения о грехопадении и оправдании. И здесь он хотел не додумывать, а узнавать на опыте, и толковал Библию не по книгам, а с опорой на хорошо понятную ему природу: человек есть пашня, на которую падают семена Господа или дьявола — Парацельс широко пользуется этой метафорой роста и посева.

Макрокосмический взгляд на природу и практический взгляд на исцеление больных легко помогли ему преодолеть теоретические сложности при богословском обосновании учения о природе. Он не рассматривал творение и творца в отрыве друг от друга: силы, которые следовало применить на благо больных, он воспринимал как божественные и искал их в открывающемся перед ним макрокосме с оглядкой на микрокосм. Он не находил в Библии ничего, что могло бы отвратить его от природы; первородный грех не был для него пропастью между божественным и человеческим: он скорее рассматривал его как недуг... в связи с этим богословские распри не тревожили его живой ум, так как он вопреки всем толкователям, пребывавшим в долгих раздумьях об оправдании перед Богом, недвусмысленно ясно видел в Св. Писании долг христианина: любить и помогать. Ни один христианин того времени не заботился об аде и загробной жизни меньше, чем Парацельс. Его понимание Тайной вечери носит более натурфилософский, нежели богословский характер, даже здесь он ищет преобразующую силу, а не занимается трактовкой слов. Говоря о противоречии между христианской верой и естественнонаучными исследованиями Парацельса, я имел в виду отнюдь не состояние его души, а умственную работу: практическое христианство, которое вторгается во все его труды, равно как и лютая ненависть к книжным ученым, создала дополнительные препятствия для строгого и ясно-го изложения, уже и так затрудненного в силу прочих обстоятельств, — в этом вопросе мы, конечно, исходили из одностороннего прочтения его трудов, из объяснения того, почему он остановился на жанре «афористическо-

го трактата об опыте» и так и не пришел к написанию законченных и последовательных работ.

Попутно хотелось бы устранить смешение понятий, вследствие которого Парацельса неверно причисляют к мистикам, принимая его стиль изложения, зачастую маловразумительный и витиеватый, за выражение мистических идей. Если, как принято, понимать под мистицизмом воззрение, согласно которому законченный, сформированный космос необходимо вновь растворить в Первопричине, лишенной облика и свойств, посредством созерцательного или искупительного избавления от личности, формы, очертаний, тогда Парацельс столь же мало был мистиком, сколь Лютер, намного меньше, чем Себастьян Франк. Только если раздвинуть границы понятия мистицизма так непозволительно широко, что называть мистическим любое мышление, не доведенное до полной отвлеченности, любое творчество, окруженное благоговейным трепетом перед неназываемым и невоплотимым, проще говоря, любой иррационализм или витализм, лишь тогда Парацельса можно будет отнести к мистикам, но в таком случае — и Гёте, Данте, Шекспира. Одно лишь то, что в труды его вошли элементы мистического восприятия, более того — обозначения из платиновской философии, которой была овеяна вся мистика Средневековья, еще не делает Парацельса мистиком, так же как Клопшток не становится древним германцем лишь оттого, что заимствует темы из скандинавской мифологии, а Гёте, слагавший гекзаметры, не становится греком.

Нам хотелось бы очень кратко остановиться на значении платиновских рассуждений, вернее, его философ-

ской символики в трудах Парацельса, наличие которой, однако, не позволяет предполагать у Парацельса сознательного заимствования или даже философского изучения неоплатонических сочинений: на это нет и намека, а имена знаменитых авторов и названия книг, не считая Библии, Парацельс упоминает лишь для того, чтобы выразить свое несогласие с ними — у нас нет оснований сомневаться в его независимости, в том, что к познанию он шел своим собственным путем, пусть даже до него этим путем уже прошли другие. В эпоху поздней античности и на протяжении всего Средневековья платонические и неоплатонические идеи, по тысячам неприметных троп разлетевшиеся во все уголки христианского мира, были всеобщим достоянием. Повсюду, а в особенности там, где следовало примирить пестрое, сумрачное, злое и относительное многообразие мира с абсолютным светлым высшим Благом, или Духом, или Богом, невозможно было не вступить на путь, проложенный Плотинем, который своим учением об эманации словно впервые привел в движение платоновский мир идей («эйдосов»), вечных прообразов. В рамках неоплатонизма идеи превратились из неизменного мерил и структуры всего сущего в силы, изливающиеся, излучаемые и воздействующие из высшей сферы, именно благодаря этому став для христианства, насколько простирались его динамические воззрения, еще привлекательней: в такой трактовке они сочетались с понятием Творца лучше, чем статичные идеи самого Платона. Угасание света и отход от истоков, грехопадение, перешедшее в христианство из библейской традиции, благодаря платиновскому учению казались понятнее с философской точки зрения. Александрий-

ский гностицизм, хоть и отвергнутый в конце концов католической церковью, все же достаточно долго был настолько влиятельным, чтобы посредством греческих отцов церкви и бесчисленного множества тайных разрозненных братств распространить в западноевропейской церковной среде свое учение, соединившее библейские и неоплатонические идеи, свои попытки разрешения теософских вопросов. Всякий раз, когда абсолютная душа ищет абсолютного Бога, прорываясь через понятийные или ритуальные заслоны, выставленные посредниками, всякий раз, когда сведущий в природе ум решает объяснить спорное земное многообразие одним бесспорным первоисточником и первопричиной, желая оправдать свою земную радость или унять земные страдания, — мы неизменно обнаруживаем те самые размышления в русле неоплатонизма, то в виде теургической, богодейственной магии, то в виде богосозерцательной мистики. В эпоху Средневековья и на заре Возрождения эти мысли витают в воздухе, и Парацельс впитывает их непроизвольно, так что нам не следует делать вывод, будто этот ход рассуждений он усвоил из неких литературных источников: вовсе не обязательно читать Аристотеля, чтобы говорить о понятиях, или Платона, чтобы говорить об идеях.

Парацельс имеет дело с двумя бесспорными данностями: Творцом, вселюбящим, всемогущим, непостижимым, каким он предстает в Библии, и многообразным миром, возникшим по воле Высшей Причины и населенным страдающими и грешными созданиями. Как врач он особенно пристально изучал недуги, как учёный — природное многообразие. Следуя веяниям своего времени, он воспринимал неоплатонические учения о взаимодей-

ствиях, излучениях, затемнении, впрочем, без определенной строгости и обязательности, как наиболее применимую рабочую гипотезу: особенно заметно влияние неоплатонизма в его богословии и астрологии. Тем не менее объяснять вообще все его мышление, как это часто случается в наши дни, изначальной тягой к созерцательности или самостоятельным раздумьям, короче говоря, чистым стремлением к философии, в корне неверно. Прежде всего Парацельс неизменно был врачом и целителем и в поиске первопричин никогда не заходил дальше, чем того требовало его дело. Сугубо умозрительных рассуждений, оторванных от практического опыта, мы не обнаружим даже в его богословских сочинениях, и здесь он так или иначе был уже связан Откровением. Парацельс хотел объяснить и себе, и другим, как надлежит вести благочестивую жизнь по заповедям Божиим и примеру Христову, а для этого следовало узнать, что есть грех и откуда он берется, вот ради чего он читал Библию, руководствуясь совершенно прагматическими, а не философскими соображениями. «Все вещи, что употребляем мы на земле, надобно употреблять во благо, а не во зло, — говорится в его трактате о „блаженной жизни“, служащем вступлением к „Большой философии“. — Сия же религия установлена и определена Богом, и сия же религия состоит из трех частей: из пророков, из апостолов и из учеников». Пророки непосредственно возвещали слово Божие, рождение и житие Христа, апостолы проповедовали блаженную жизнь с Христом и во Христе, ученикам же следует исполнять слово пророков и апостолов по завету Христа и учить ему. Согласно Парацельсу, послание людям таких деятельных примеров для подражания есть

величайшее деяние Бога, а подлинная цель священного учения на земле заключается в очищении нечистых через святой Дух и божественную истину. «Сии суть светочи для мира и всех людей, сии суть те, что грядут во имя Господне, сии суть те, что пасут и дают, ведут и питают». Как мы видим, для Парацельса важны поведение и поступки, а не самодостаточное созерцание.

Даже в богословских трактатах Парацельс уделяет своему телоспасительному призванию не меньше места, чем душеспасительному, или, вернее сказать, оба они составляют единое целое, служа воплощением божественной заповеди и примером христианского поведения. Прежде никто не ощущал в «целительстве» символическое следование Спасителю так сильно, как Парацельс — и его «Большой философии» скорее подошло бы название «Вероисповедание врачей», которое английский врач и мыслитель XVII века Томас Браун* дал своей знаменитой книге. Кстати, в сочинении о блаженной жизни Парацельс сам с особой подчеркнутостью употребляет выражение «вероисповедание врачей» и определяет его так: «В жизни надобно дух укреплять, дабы обратились мы к Богу и умерли затем в блаженстве. И посему человеку мудрому, человеку благочестивому следует знать и признавать подлинное вероисповедание медицины, дабы не забрался он в сорную траву, а пшеницу забросил. Истинное вероисповедание врачей таково, что они прежде всего знают и узнают всю природу

* Томас Браун (1605–1682) — британский медик, выдающийся мастер прозы эпохи барокко. Известен сочинениями на религиозные и естественнонаучные темы.

в созданиях, каковая в каждом из нас есть. А если они сие знают, то знают тогда также, каковы недуги есть, и сколько их числом, а также средство против недуга, а из средства выводят приметы. Ибо внутреннюю болезнь тела без внешних природных примет узнать невозможно». Но это мы узнаем от Бога: «Ибо как иначе мы знать можем, откуда лекарство силу свою взяло или возьмет, как не единственно из могущества и дара Божьего. На сем мы должны остановиться. Итак, должны мы пребывать в страданиях, ибо если человек занедужит, нет тому никакой иной причины, кроме веления Господня. Кто пожелает, чтобы делам его, и трудам, и дням конец настал? Никто. Посему истинное вероисповедание в блаженной жизни есть то, что мы знать должны имена болезней и силу лекарства пригодного, и для всякого недуга свое средство употреблять». Сказано достаточно ясно: для Парацельса Бог не совпадает, согласно пантеистической традиции, со всем сущим, но, согласно библейскому Откровению, он есть Творец, который по своей неисповедимой воле сообщает предметам свойства, дабы человек исследовал их и использовал. Таким образом, полагает Парацельс, перед учеными открывается достаточно широкое поле для деятельности.

Мысль о том, чтобы посредством размышлений или чутья, или мистического саморастворения личности самому проникнуть в Божественную сущность либо толковать мироздание исходя из Бога, сверх того, что подразумевает согласие с библейским сюжетом о сотворении мира, категорически чужда Парацельсу: он не является ни философом подобно Аристотелю, Спинозе, Гегелю, ни даже теософом, как Майстер Экхарт и Якоб

Бёме... с одной стороны, он богослов лютеровского склада, верующий в Библию, хотя и со своими собственными воззрениями, а с другой — деятельный христианин, врач, жизнь и поступки которого не расходятся с учением Христа. Называя себя философом, он подразумевает исключительно свои естественнонаучные изыскания, почти в том же смысле, в каком французские энциклопедисты в эпоху Вольтера именовали философами и себя самих, и, например, Ньютона. Еще Декарт и Лейбниц понимали под философией в значительной мере изучение природных законов... подобно тому как Парацельс — познание природных сил. Но и это исследование природы у Парацельса обусловлено не только тягой к наблюдениям, как у Николая Кузанского, Ньютона, Галлера, но и насущной потребностью врача. Парацельс вовсе не смог бы исполнять свой врачебный долг, как он понимал его, не овладев целительными силами природы путем исследования, анализа и синтеза. Подобно тому как врачевание было для Теофраста лишь воплощением христианского образа жизни, соответствующим его склонностям и отцовскому воспитанию, так и занятие естественными науками было лишь необходимым условием его врачебной деятельности. Догадки, озарения, познания требовались ему для дела, а не размышлений, и все его труды следует читать как практическое руководство, как расширенные и обоснованные рецепты, как борьбу с ошибочными способами лечения и неправильными доводами в их защиту, как объяснение нового и неслышанного опыта, накопленного им самим, и в силу всего этого, конечно, был необходим мощный отпор противникам, зачастую выраженный, по обычаю того времени,

в резких и непристойных речах. В ту эпоху изложение и защита оспариваемого мнения не мыслились без унижения сомневающихся и несогласных сторон. Яркий пример такого ведения спора, а также образец немецкого красноречия предоставил Лютер в своих сочинениях, а Парацельс — один из наиболее выдающихся его последователей на этом пути.

Итак, если попытаться объять весь многогранный характер Парацельса и назвать его дарования в определенной последовательности или порядке их значимости, то первейшим велением души, идущим из самой глубины его личности, стало бы деятельное христианство в духе святого Франциска... затем профессиональное призвание, посредством которого проявлялась и действовала эта воля, — оказание врачебной помощи... наконец, необходимые для сего средства (при его широком и возвышенном понимании своего призвания) — всестороннее исследование макрокосма как путь к постижению микрокосма и просвещение людей на письме и изустно.

Не так давно на нелепом модном языке современной литературной философии Парацельса окрестили «активистом» или даже «мистическим активистом с религиозным уклоном». В этом определении верно отражена деятельная натура исследователя, сильно недооценена или по меньшей мере скупно выражена его мощная христианская воля и дано ложное представление о мистицизме. Точно так же большая шумиха была поднята как раз вокруг так называемых «магических» сочинений Парацельса, посредством которых попытались судить о его личности в целом, например, на основании «Архидоксий». Сущность Парацельса присутствует во всех

его трудах в равной степени явно и неявно, и в этом отношении его алхимические работы, которые высокопарно называют «магическими», не имеют совершенно никакого преимущества перед медицинскими или богословскими. Слово «магия», так же, как и слово «мистика» — два неперенных штампа для обозначения известных и ограниченных явлений, — широко употребляется в ошибочном смысле и служит для того, чтобы завуалировать нехватку последовательного мышления и точного знания или вызвать у читателей приятную дрожь и волнение. Часто под это определение подводится все, что кажется непостижимым и не укладывается в рамки четких понятий или по самым разным причинам предстает таинственным, расплывчатым, туманным. «Магия» — это иностранный синоним слова «колдовство» и, строго говоря, означает лишь использование людьми нечеловеческих сил, сверхчеловеческих или животных, не поддающихся разумному пониманию. Поскольку Парацельс в лечебных целях применял предчувствуемые им или известные природные силы, его можно назвать магом, а книги, в которых он излагает свои методы, — магическими. Но тогда современные химики и инженеры также могут быть названы магами, а определение магической книги подойдет справочнику по электрохимии ничуть не меньше, чем «Архидоксиям». Если все же понимать под магией у Парацельса колдовские воззрения и приемы оккультного толка, в силу чего он считал себя причастным к сверхъестественным знаниям и возможностям, коими народная молва в ту пору наделяла его самого или доктора Фауста, а до него — Роджера Бэкона или папу Сильвестра, тогда это мнение неспра-

ведливо. Его магия представляет собой алхимию в пору своего заката и химию в пору зарождения — под алхимией подразумевается искусство превращения и создания веществ за счет использования их предполагаемых, обычных или легендарных свойств, ставящее целью получить бесценный продукт, например, эликсир жизни или золото... химия понимается как искусство разложения и соединения веществ на основе естественнонаучных опытов, имеющее целью практическое применение в медицине и других областях. Устремления Парацельса были обращены в сторону современной химии, а не старой алхимии, даже если он не располагал ни средствами, ни веществами позднейшей науки и был вынужден опираться на малодостоверные остатки средневекового учения о растениях и минералах, к которым примешивалась изрядная доля магических заблуждений, и на пока еще скудные достижения горняков в сфере добычи металлов.

Не задаваясь вопросом о том, в какой степени «Архидоксии» Парацельса с главами о тайнах микрокосма, о выделении элементов, о квинтэссенции, о волшебных зельях, целительных соках и магистериях,* об особых процессах — таких как сгущение или разбавление тинктур, то есть действиях, сопутствующих получению веществ, — об эликсирах и снадобьях для заживления ран, кажутся нынешнему читателю собранием средневековых суеверий или смутно-дерзновенными предчувствиями сегодняшних достижений, изложенными на языке,

* Другое название философского камня. Также трактуется как целебная сила лекарственных веществ.

ставшем для нас чужим, осложненном религиозной подоплекой, мы можем заметить, что Парацельс, как бы темно и запутанно он подчас ни выражал свои мысли, ни в коем случае не считал, будто он представляет тайное учение и сборник заклинаний и колдовских рецептов — написанное он мыслил себе как исследование естественной науки на благо больных, совершенно как современные труды по фармакологии, только с чуждой для нас привязкой к вере. В то время христианская вера была не так обособлена от естественных наук, как сегодня, и даже представляла собой необходимую предпосылку естествознания. Тогда еще не существовало безусловной, не обремененной целями науки ради самой науки, а уж тем более у Парацельса, который стремился к знанию лишь затем, чтобы помогать людям по завету Божьему и по примеру Христа. Однако он недвусмысленно отвергал волшебные средства вечной молодости и изготовление золота, а его собственные труды легко отличить от магических книжонок с рецептами и заклинаниями, имевших хождение под его именем, благодаря тому, что в первых нет и намека на колдовские замашки, когда Парацельс обращается к Божественной тайне мироздания... в этом проявляется его живое благочестие, а не тщеславие кудесника, и относится оно к той же области, что и яростные нападки на схоластическую медицину, а именно, к высказыванию своих воззрений, еще не втиснутому в жесткие рамки литературной формы. Необходимо остерегаться того, чтобы ошибочно не принять его горячие и нескладные поиски подходящих слов для выражения нового знания за намеренное затемнение смысла, присущее мистагогу. Чего он желал, так

это предельной открытости, по-настоящему народной ясности, в полную противоположность как замкнутой касте ученых с их недоступной латынью, так и базарным шарлатанам с их непонятной тарабарщиной, звучащей тем не менее весьма заманчиво для простого люда. Но как мог он достичь этой ясности, пользуясь языком немецкой прозы, отточенным почти сплошь на богословских сочинениях, и повествуя о том, что он сам только что узнал? Здесь мы приводим несколько примеров из его основного «магического» труда, «Архидоксий», который дает приблизительное представление о неоспоримом стремлении Парацельса беспристрастно и полно передать знания, проверенные им на опыте, отделив их от всякой шелухи и пустой болтовни, но одновременно свидетельствует также о мучительных поисках нового языка, о борьбе за собственную терминологию, о первых робких шагах, повторях и путанице. Его сочинения — не извержения чувствительного мечтателя с переполненным сердцем, у которого слова так и льются из уст, что свойственно мистикам, и уж точно не красноречие пылкого богомольца, но речи увлеченного практика, которому язык нужен лишь затем, чтобы поделиться могуществом добытых им медицинских знаний не только со своим ближайшим окружением. Возьмем, к примеру, отрывок о квинтэссенции: «После того, как и мы уразумели присутствие квинтэссенции, которая обнаруживается во всех вещах, должно прежде всего понятие себе составить о том, что́ есть квинтэссенция. Квинтэссенция представляет собой материю, каковую в виде вещества извлекают из всех растений и всего, в чем жизнь имеется, всякой нечистоты и смертности лишенную, столь

чистейшую, сколь только помыслить можно, от всех элементов отделённую. Ныне постичь надобно, что квинтэссенция есть единственно природа, сила, добродетель, лекарство, кои в вещи заключаются без укрытия и вхождения чужеродных тел. У вещи есть также цвета, жизнь и свойства, и есть дух, подобный духу жизни, но отличный тем, что дух жизни у вещи долговечен, а у человека смертен. Посему разумеем, что из человеческой плоти и крови квинтэссенцию извлечь невозможно: сие оттого происходит, что дух жизни, каковой есть еще и дух мужественности, умирает, а жизнь в душе содержится» и т. д. Нам ясно, что хочет сказать Парацельс, однако свои мысли он выражает смутно и неоднозначно, потому что представления о силе и сущности, которые он связывает с квинтэссенцией, еще не созрели окончательно для точного определения, но должны были получить его впервые в работах Парацельса. Он желал дать дефиницию, определение понятия, которое в то же время смогло бы четко обозначить его границы: для этого он прибегает к повторам, нагромождению близких по смыслу слов, латинским выражениям. На сегодняшнего читателя, не знакомого со старинной литературой, это легко производит впечатление сознательно избранного оракульского тона, мистического или орфического бормотания... так выглядит наука, за которую ведет борьбу щедрый и живой ум. Содержание «Архидоксий» составляют объяснения основных сил и первичных материй, с трудом поддающихся определению, а также описания устаревших средств и приемов, то есть с точки зрения цели труд этот не отличается от современных руководств по технике и медицине, с точки зрения языка написан все еще

в неточных и избыточных выражениях, с точки зрения общего умонастроения автора предстает более богобоязненным и расплывчатым, чем просветительские энциклопедии для масс, и более одиноким, ибо Парацельсу приходилось впервые торить путь там, где сегодня пролегают широкие трассы.

Если сравнить Парацельса с учеными современности, то на их фоне он выделяется как своенравная и незаурядная личность, если сравнить его со старыми схоластами и гуманистами, то он выделяется глубокими познаниями в естественных науках и тонким чутьем природных сил. Оба этих отличия кажутся наблюдателю наших дней, который обычно лучше улавливает отношения человека с миром, нежели его сокровенную суть, проявлением подлинного «я» Парацельса, часто — таинственными свойствами или манящими странностями, словом, «мистикой» или «магией» в том размытом смысле этих собирательных слов, которые охотно подворачиваются тогда, когда нет подходящих понятий. Парацельс — это светлый, стойкий, упорный ученый, исследователь, целитель и боголюбец, один из рода тех, кто (по выражению Гёте) от тьмы стремится к свету, в самом деле, можно сказать — один из первых просветителей, вопреки своей безоговорочной и непоколебимой христианской вере, которая роднит его с рядом далеких от мистицизма современных ученых... загадочный, как и любой гений, непонятный не в силу своих устремлений — среди ясного дня проникнуть в тайну первоначальной ночи, — но в силу сложности стиля и нашей неосведомленности в предмете. Он еще не умел так тщательно разъяснять свои убеждения, выводы и практические наблюдения, лежав-

шие в основе его мировоззрения, как дети «рассудочной и вещественной эпохи»,* а затрагиваемые им темы либо знакомы нам совершенно в ином контексте, отображении и формулировке, либо вовсе незнакомы. Его рабочие гипотезы кажутся нам или чересчур простыми, или чересчур поспешными, а в глазах оппонентов простые заключения легко превращаются в магические суеверия, поспешные — в мистический вздор. Бесспорно, что Парацельс, который желал быть практиком, а не пророком или мудрецом, со своими прагматическими рабочими гипотезами стал одним из самых успешных практикующих врачей... и если плодотворное истинно, а истинное — научно, тогда его рабочие гипотезы представляют собой объективную науку, а не субъективную мистику и игру воображения.

Как бы мало ни стремился Парацельс преподать нам свое учение в медицине в виде стройной системы, как бы ни было очевидно, что корни его успешного лечения следует искать не в правильной теории, а в действенном от случая к случаю даре предвидения, с течением лет усилившемся благодаря опыту, тем не менее через все хитросплетения его трудов вполне ясно прочитывается постоянно меняющая свой облик основная мысль, которой подчинено все остальное: а именно, мысль о первенстве мироздания над человеком, макрокосма над микрокосмом. По мнению Парацельса, определить болезнь, постичь ее суть и вылечить невозможно, если врач судит лишь по больному и его наружности, а мож-

* Выражение Стефана Георге из предисловия к своему переводу сонетов Шекспира.

но только в том случае, если рассматривать человека как звено в цепи всемирной закономерности. Благодаря этому убеждению Парацельс невольно перешагивает через всю историю медицины, начиная с Гиппократов, и возвращается к естествословским воззрениям досократиков, искавших единый первоисточник всего сущего и объяснявших человека исходя из мироздания в целом. Представления Парацельса ближе всего к учению Алкмеона об «изономии» — равновесии (см. Дильс, «Досократики», т. I, с. 136 — Ф. Г.).* Затем Сократ спустил философию с неба на землю, что даже вошло в поговорку, и начал строить свои рассуждения, ставя человека во главу угла, ради самого человека, будучи заодно с софистами и против софистов, один из которых стал автором афоризма, казавшегося тогда парадоксальным — «Человек есть мера всех вещей».** В русле утвердившегося затем мировоззрения с человеком в центре вселенной, которое овладело умами в эпоху поздней античности, раннего христианства, а также европейского и арабского средневековья, приняв форму аристотелизма и платонизма различных направлений, находился и Гиппократ. Его принято считать первым известным основоположником научной медицины, как раз благодаря тому, что он стал изучать человеческий организм сам по себе, отвергнув вносящие путаницу размышления о космосе. Через Галена, который имеет к Гиппократу примерно такое же

* Имеется в виду собрание фрагментов древних авторов-досократиков, составленное немецким филологом Германом Дильсом (первое издание — 1903 г.).

** Изречение Протагора.

отношение, какое Плиний имеет к аристотелевскому естествознанию, эти взгляды на медицину дошли до арабских врачей и западных медиков-схоластов, и даже приобретение новых знаний, которые вписывались в исповедуемые ими теории, в особенности начиная с Возрождения, ограничивалось пределами отдельно взятого человеческого тела: анатомия как никакая другая наука несет ярко выраженный микрокосмический характер. Расцвет эпохи Возрождения так или иначе не был благоприятен для макрокосмических устремлений: в эту пору значительную роль играет гуманизм, то есть действие, высказывание, мышление, познание для человека и с позиций человека, и даже более развитая и углубленная естественная наука, в отличие от скудной и темной науки средневековья, служила не для объяснения Вселенной, а для земных нужд. Не мироздание предстояло исследовать и использовать людям, но обитель человека, а коперниканской системе, которая, кстати говоря, прочно вошла в сознание и круг представлений европейцев лишь в XVII веке, суждено было скорее обратить внимание человека на самое себя и на устойчивую, вековечную землю, чем указать на непосредственно воздействующие высшие сферы, как указывала средневековая картина Вселенной. Достаточно просто сравнить Данте с Петраркой, чтобы почувствовать присущую Возрождению сосредоточенность на человеке вместо мироздания. Итак, средневековая медицина, наследовавшая учению античных или арабских мыслителей, опиралась на философию после Сократа и в силу этого была обращена к микрокосму: ее связь с общим для Средневековья, несомненно, более макрокосмическим мировым чувством относилась

уже не к науке, а к магическим или астрологическим заблуждениям, смутным и путаным догадкам простого люда, народным суевериям, изредка — к народному чувству; Парацельс мог время от времени черпать из этого источника, но для построения науки он не годился. Однако новая ренессансная наука, во главе которой стоял уже Фридрих II Гогенштауфен или даже Роджер Бэкон (XIII век), а за ними — Леонардо да Винчи, Кардано, Телезио, Везалий и другие позднейшие мыслители, вся имела микрокосмическую направленность, а крупнейшее достижение медицины этой эпохи — познание строения человеческого тела, — было не чем иным, как крайним проявлением усердного изучения микрокосма, и именно поэтому столь чуждо Парацельсу, не говоря уже о том, что он занимался поиском ощутимых жизненных сил, а не осязаемых мертвых тел. Ничего удивительного, что ум, который во многом далеко опередил свое время, именно в этом отношении мыслил почти как ретроград.

Так мы подошли к тому, чтобы ответить на часто обсуждаемый, но, впрочем, не слишком важный вопрос о том, следует ли относить Парацельса скорее к Средним векам или к Возрождению. Неважен — а также до известной степени неверно поставлен, — этот вопрос (возникающий, когда речь заходит о Фридрихе II, Данте, Лютере, даже о самом Шекспире, словом, о любом крупном новаторе между 1200 и 1600 годами) потому, что каждый живущий глубокой умственной жизнью и тем паче гениальный человек таит в себе как все порождения природы от растительного и животного мира до мышления и речи, так и всю совокупность исторических сил, и лишь на основании мощности и яркости их про-

явления его относят к той эпохе, которую он проникся или делится с другими, которую он вобрал в себя или которая от него исходит, то есть относят либо к прежнему, либо к будущему поколению. Каждый из нас тайно хранит в себе всю мировую историю, и лишь сегодняшний день бросает свет на нашу убогую и тесную оболочку. Того, в ком виднеется большее, кто излучает большее, нежели сиюминутную действительность, короче говоря, того, в ком мы узнаем не только бабочку-однодневку, но и историческое существо, всегда можно будет причислить к нескольким эпохам.

К Средневековью Парацельс принадлежит в силу своего макрокосмического подхода к больному и его лечению, если называть средневековым то воззрение, согласно которому человек рассматривается как часть всемирной Божественной взаимосвязи, невзирая на его геоцентрическое положение... и если считать приметой Нового времени взгляд на человека как на обособленное, независимое, даже солипсическое существо, невзирая на открытое с тех пор множество миров, в которых он вращается со времен Коперника. При этом собственно средневековым у Парацельса можно считать не исповедуемое им медицинское учение, а скорее общее мироощущение, лежащее в основе его медицины. Ведь средневековая медицина имела дело как раз не с одушевленной частичкой одушевленного мироздания или, лучше сказать, миросущества, к чему стремился Парацельс, но с единичным организмом, который рассматривался явно не как звено мировой цепи и не как отдельный человек, но в одном ряду с понятиями или представлениями. На фоне изолированного подхода к человеческому телу, берущего

свое начало в эпоху Возрождения и встречающегося уже у Леонардо да Винчи, и тем более в сравнении с чисто гуманистической анатомией своего младшего современника и собрата по ремеслу Андреаса Везалия из Брюсселя (1515–1564), который в своем вышедшем в 1543 году труде по анатомии окончательно расправился с галенизмом, Парацельс — с точки зрения медицины Нового времени — предстает консервативным мыслителем, чуть ли не «реакционером». При этом мы еще не берем в расчет его взгляды, не имеющие отношения к медицине, в известной степени личного характера, например, веру в ведьм... подобные пережитки встречаются у светлых ученых умов вплоть до XVII века. Зато чертой Нового времени в характере Парацельса, несомненно, является его безудержное и непосредственное стремление, даже страсть к познанию, с которой он, руководствуясь своей «досократической» рабочей гипотезой, разрывал тенета схоластических понятий. В медицинской науке он сражался на двух фронтах, и здесь выступая не как вождь новой эпохи или восприимчивый старейшина, а скорее как одинокий гений на рубеже двух эпох: он боролся против галеновских теорий, не подкрепленных опытом, и против тех опытных знаний о человеке, которые лишали его связи с макрокосмом, как скудные начатки анатомии. Вероятно, Парацельс обрушился бы с такой же яростной критикой на основателя чистой экспериментальной анатомии, Везалия, как и на медиков-схоластов, если бы дожил до публикации его трудов. Будь Парацельс не более чем проводником одной макрокосмической идеи, он лишь заменил бы схоластические рассуждения на неоплатонические... это не сделало бы его великим врачом,

точно так же, как замена аристотелевских положений Фомы Аквинского на платоновско-плотиновские учения Пико делла Мирандолы или Марсилио Фичино не стала шагом вперед в философском познании. Однако то, что Парацельс настойчиво пытался проникнуть в суть этого предполагаемого взаимодействия между человеком и Вселенной, то, что путем наблюдений и экспериментов он стремился употребить все богатство земных и небесных сил на пользу больных и часто употреблял его во благо, — все это принесло ему заслуженную славу в большей степени, чем ни к чему не обязывающее мировое чувство, которому ныне рукоплещут новоявленные мистики и богоискатели, и уж подавно больше, чем приписываемые ему занятия магией, слухи о которых так любят смаковать в кругу современных эстетов.

Парацельс попытался более или менее классифицировать и выделить те природные царства, опираясь на которые он мог бороться с человеческими недугами в совокупности. Так как он не был в достаточной мере обучен строго понятийному мышлению или же в качестве практика, не подстегиваемого тщеславным желанием систематизации, довольствовался примерным представлением о предмете, классификации у него часто нечетки, а границы понятий размыты. Важнейший для понимания медицинской систематики Парацельса труд — это трактат «Парагранум», который он без конца переписывал; последняя правка относится к 1530 году. В каждой из четырех частей книги рассматривается один из столпов медицины: первая часть посвящена философии, что в терминах Парацельса означает общее естествознание, вторая — астрономии, науке о небесах и

звездах, третья — алхимии, то есть, в самом широком смысле, искусстве разложения и соединения, при помощи которого человек покоряет и преобразует природные вещества и силы, более того, доводит до совершенства... в четвертой части обсуждается то, что Парацельс называет *proprietas** или, в другой редакции, *virtus*** — узкую область непосредственно целительского искусства, то, что сегодня только лишь и подпадает под определение медицины, в то время как три прочих науки или искусства, основания или столпа медицины, как формулирует Парацельс, считаются излишними или чисто вспомогательными, подобно тому как фрагменты из алхимии можно было бы включить в современную фармакологию или биохимию. В числе свойств или добродетелей врача Парацельс признает и отмечает не только проницательность и мастерство, но и высокую нравственность — интеллектуальные, личностные и этические требования и качества у него еще смешаны и не отделимы одно от другого. Книгу «Парагранум» следует читать не как наставление по медицинской науке — в отличие от, скажем, «Большой книги хирургии», или «Архидоксий», или монографий об отдельных болезнях, лекарственных средствах и приемах, — но как трактат по иатрософии, книгу премудрости и медицинское кредо, как его собственное «вероисповедание врачавателя».

Отдельные трактаты книги «Парагранум», как явствует из рукописи, Парацельс написал собственноручно и неоднократно их переписывал, чтобы досконально объ-

* *Proprietas* (лат.). — Свойство, признак.

** *Virtus* (лат.). — Добродетель, достоинство, стойкость.

яснить свои неоднократно критикуемые теории, которые по крупницам были рассеяны в других источниках, и свои практические наблюдения, а также изложить общий для них смысл: эта книга ценна скорее не фактическими знаниями, а высказыванием о научной вере автора и духовном направлении его врачебной практики. В основе каждого, даже самого точного научного исследования лежит какая-либо вера, и учености пошло бы только на пользу, если бы большинство исследователей так же ясно заявляли о своей вере, своих духовных предпосылках, как это делает Парацельс. В предисловии Парацельс сводит счеты со своими противниками — грубо поносит «рогатых» лекарей и высокопарным слогом возвещает о своей медицинской монархии, обращаясь к мировым авторитетам: «вы за мной, а не я за вами», обнаруживает свое задетое и упрямое самолюбие в весело-яростных вспышках, из-за которых о нем и пошла слава как о заносчивом крикуне. Разумеется, Парацельс говорит совершенно всерьез, но сознательно утрирует и усиливает шуточно-язвительный тон своих слов... представляющих смесь из мощных и размашистых грубостей Лютера и едких словесных хитросплетений Фишарта.

Сказав слово в защиту собственной точки зрения, собственного места в медицине и вместе с тем самого дела, неотделимого от личности (в ту пору не делали различия между делом и человеком), Парацельс переходит к основаниям своей науки и искусства. Ибо их он равно не разделял: знание для него — это понимание, приобретенное из опыта, странствий и действий, умение — прямое следствие того, что он узнал, испытал, изведal. Вслушаемся в важнейшие фразы Парацельса — в них

одновременно его видение и характер! Вот отрывок из первого трактата о философии (то есть естествознании): «Природа есть та, что дает больному лекарство. Если природа ему лекарство дает, больного она должна различать и знать; ибо без знания она ничего ему дать не сможет. Знание сие заключено не во враче, но в природе, и вот по какой причине: она может разглядеть в себе природу, а врач нет. Посему, если природа единственно есть та, кто себя самое знает, то должна она быть и той, кто рецепт составляет. Ибо от природы происходит болезнь, от природы происходит и лекарство, но никак не от врача. Итак, если болезнь от природы исходит, а не врача, и лекарство равным образом проистекает от природы, а не врача, то врачу надобно учиться этим двум вещам, и то, чему он выучится, надобно ему исполнять». В этих словах ясно звучит отказ от независимого разума, который торжествует в схоластических понятиях, — из веры в мудрость матери-природы, сходной с той верой, что проявляется в борьбе Лютера с «разумом — блудницей дьявола» в святоотеческом толковании Библии. Чтобы пояснить, как Парацельс, по всей вероятности, мыслил себе природу в качестве наставницы врача, можно вспомнить о другом великом немце его эпохи... мы обнаружим это же представление в том, как Альбрехт Дюрер характеризует взаимосвязь между природой и художником: природа таит в себе бесконечное богатство изображений, художнику остается только извлечь их на свет Божий. Так и для Парацельса природа — это тайный кладезь врачебных знаний, кладезь рецептов, врачу нужно лишь уметь их прочитать. Это чтение и есть «философия», а для незамутненного и правильного

восприятия следует забыть о книжных теориях. «Врача учит природа, а не человек». Поэтому «необходимо, дабы врача лепила природа, а не ученые мужи Лейпцига или Вены» — то есть факультеты галенистов (Парацельс упоминает те два, что особенно ему насолили, помешав изданию его книг). То, что в университетах принимают за философию, для него не более чем бородавка, нарост на теле науки, который кажется с ним единым целым, но только на вид. Философия настоящего врача, по Парацельсу, состоит в следующем: когда он знает «небеса и землю по составу, внешнему облику и существу». Их он постигает не через «спекуляции», а через «инвенции» — то есть не путем абстрактных умозаключений, а посредством изыскания, открытия, познания, исследования — все эти слова примерно передают значение *inventio** у Парацельса.

Затем он переходит к воззрению, согласно которому все недуги вызываются только человеческими, только телесными соками, и опровергает его, приводя подробные примеры: начинать нужно с внешнего «архея» — то есть с макрокосмических истоков, а не микрокосмических симптомов: следует говорить не «это холерический сок» или «это меланхолический сок», а например, «это мышьяк», «это алюминий» или «это Сатурн». По мнению Парацельса, внешний мир, вселенная, царство минералов, царство растений содержат силы, воздействующие в том числе на органы и соки человеческого тела, и у них-то и следует заимствовать первичные признаки и названия недугов. Ибо Парацельс считал, что уже

* *Inventio* (лат.). — Открытие, находка.

в самих названиях болезней увековечена ошибочная этиология, с которой он хотел покончить, настаивая на истинном, то есть макрокосмическом происхождении заболеваний. Он стремился найти точное соответствие между лекарственными средствами, на которые указывали мир камней, мир растений, мир звезд, и изменениями в организме, на которые указывало тело. Все иное казалось ему «фантазированием», «спекулятивным» гаданием на основе одних лишь симптомов. Парацельс с его взглядом, охватывающим одновременно человека и мироздание, должен был воспринимать «гуморальную патологию» не иначе как превратное толкование соков и органов человеческого тела — примерно как врач наших дней отвечает на заблуждение, при котором корь объясняют появлением красной сыпи и пытаются вылечить ее припудриванием пятен. Говоря собственными словами Парацельса: «философия исходит не от человека, но от небес и тверди, воздуха и воды» и «нет ничего внутри тела, для чего не нашлось бы достаточных примет снаружи».

Сам этот внешний мир весьма многообразен, и поэтому к «философии» ведет множество путей, земных и небесных. Те и другие составляют единое целое и по одиночке не могут привести к цели: «Философ есть тот, кто знает нижнюю сферу... тот, кто постигает верхнюю сферу, есть астроном. Пусть оба же будут астрономами, оба будут философами, у обоих единый разум, у обоих единое знание. Ныне же все астрономы делятся на четыре части: ибо тот астроном, кто знает происхождение металлов и свойства руды; а также тот есть астроном, кто сведущ в плодах земли, кто знает злаки столь же хо-

рошо, как тот, кто знает Сатурн, и Юпитер, и так далее. И, напротив того, философ тот, кто знает сам небесный свод, и влияние, и ход небес. Также тот есть философ, кто знает воздух столь же отменно, как тот, кто знает одну лишь землю». Ибо все мировые силы, земные и небесные, находятся в непрерывном взаимодействии — что вверху, то и внизу... древние халдейские соответствия между созвездиями и металлами, между металлами и человеческими качествами, целая система знаков и отношений, перешедшая в Средневековье из поздней античности, были переняты Парацельсом и включены им в свое учение, однако он, конечно, не довольствовался именами и символами и проявлял живейший интерес к влияниям и силам, в отличие от средневековой астрологии, для которой такое взаимодействие имело не природный, а скорее магический смысл. Это представление Парацельса нашло поэтическое выражение у Гёте в первом монологе Фауста, где оно звучит ярче и мощнее, чем в собственных трудах Парацельса.

Как в целом части все, послушною толпою
Сливаясь здесь, творят, живут одна другою!
Как силы вышние в сосудах золотых
Разносят всюду жизнь божественной рукою
И чудным взмахом крыл лазоревых своих
Витают над Землей и в высоте небесной —
И стройно все звучит в гармонии чудесной!

Это чувство, описанное в следующих фразах из «Парагранума», совершенно не поэтических или мистических, но, по мысли автора, строго научных, мы воспринимаем как веру: «Сатурн обретается не только на небе-

сах, но также в пучине моря и недрах земли. Мелисса не только произрастает в саду, но находится и в воздухе, и на небесах. Что разумеете вы, говоря: Венера есть не что иное, как артемизия?* Что артемизия есть не что иное, как Венера? Что суть обе они? Матрица, концепция, *vasa spermatica...*** Посему вот кто есть философ: кто одну сущность узревает в одном, тот оную же в другом узнает (с различиями, кои формы лишь касаются и более ничего)».

Единое во всем!

Отличительная черта этого учения — мысль о превосходстве сил над веществами. Если прежде в явлениях природы — звездах, растениях, минералах, — усматривали незыблемые представления, понятия, имена, знаки и пытались выразить взаимосвязи между ними при помощи магических или математических отношений, то Парацельс обратился к преобразующим и преобразуемым силам, перед лицом которых любая устойчивость казалась лишь вторичным слепком. Если раньше любое наблюдаемое взаимодействие пытались поймать, ограничить, запечатлеть — установка, которая нашла свое воплощение как в греческих богах, идеях, понятиях, так и в римских функциях и формулах, — то Парацельс, представитель эпохи «немецкого становления», ставшей предметом столь горячих споров, возможно, впервые в истории естествознания стремился приблизиться к преобразующему и преображаемому. В свете этого нельзя не

* Полынь. Считалось, что этому растению соответствует планета Венера.

** *Vasa spermatica* (лат.). — Вместилище семени.

вспомнить о его борьбе с терминологией, сложившейся при изучении незыблемого, постоянного, вещественного и рассчитанной на описание таких же сущностей. Тогда еще не существовало специальных выражений для сил, превращений, переходов, так что неясность стиля и многоречивость Парацельса отчасти объясняются тем, что он хотел изложить идеи движения при помощи терминов, обозначающих статические понятия. Так, он никогда не устает ругать односторонность медиков-схоластов, ограниченных одной предметной областью: «до сих пор врачи никогда не были вполне и целиком врачами». По этой же причине они не исследовали рост, который никак невозможно изучить на примере отдельного земного существа или физически наблюдаемого предмета, а следует рассматривать только как процесс, действие, событие. Слово «расти» Парацельс употребляет, сообщая ему новое содержание и широту охвата... в частности, используя его применительно к металлам. Прежде всего врачи должны знать, «откуда растет олово, откуда медь, золото, железо растут, и как оные растут, и что им сопутствует, как оные на болезнь воздействуют и какие силы в них скапливаются. Зная столько, сколь они ныне знают, будут понимать они в человеке только один орган». А какие трудности их ждут, когда нужно будет делать выводы на основании более чем тысячи металлов! «То, что во всякой философии и медицине всего потребнее, то они упускают».

Медики старой школы пытались по возможности свести все к нескольким первовеществам по примеру ионийских натурфилософов, которые хотя и искали первооснову, но, в соответствии с эллинскими воззрениями,

первооснову определенную, доступную, чуть ли не зримую. Учение о четырех темпераментах, или «соках», или четырех элементах также восходит к стремлению подвести прочное основание под мироустройство. Парацельс переворачивает это желание с ног на голову, предъявляя к врачам следующие требования: «Вот что целителю знать должно: что расплавляется в олове? Что за вещество тает в воске? От коего вещества столь тверд алмаз? От коего вещества столь мягок алебастр? Ныне же, зная все сие, он сможет сказать, от коего вещества созревает или не созревает нарыв, от чего случается карбункул, от чего происходит чума». Нам ясно направление его мыслей: Парацельс имеет в виду не что иное, как силы — но ему не хватает терминологии, которая исходила бы из сил и воздействий, ибо прежняя терминология опиралась лишь на вещества.

Прежде всего врач должен воспринимать человека не как совокупность мышц и костей, соков и членов, но как порождение и творение всей природы в целом. «На земле, в воде, в огне и в воздухе врачу надлежит искать человека, но не по одному человеку от каждой из четырех стихий, а единого человека во всех стихиях, и должно учиться у оных, чего человеку недостает, как он зарождается и кончается, что возвышает его дух, что омрачает, когда он пребывает в добром здравии, когда поражен недугом. И подобным образом он сего внешнего человека (сиречь макрокосмического) с величайшим тщанием познает и изучит, и затем следует ему отправиться на факультет медицинский, и обратить внешнего человека во внутреннего, а внутреннего выучиться узнавать во внешнем, и повсюду остерегаться, дабы не

учиться сему чрез внутреннего человека, ибо сие есть не что иное, как соблазн и смерть». Этим же объясняется отвращение искателя сил к современной ему анатомии, занимавшейся рассечением материи. Подлинная анатомия, понимаемая как порядок расположения или взаимодействия сил в организме, «укоренена» в человеке внешнем, в макрокосме, и оттуда врач извлекает лечебные средства в соответствии с каждым органом, для которого они предназначены, а «не по степеням 1, 2, 3, 4 — средство медиальное, финитное, принципиальное и т. п.» — таков схоластический метод, основанный на реализме понятий. Теория степеней или доз тесно связана с верой в превосходство веществ: если болезни — это вещества, то к ним применимо понятие количества... если к ним применимо понятие количества, их можно равномерно уменьшать или увеличивать. Однако если болезни суть силы, они обладают только качествами... или, как неуклюже формулирует Парацельс: «Ни болезни, ни лекарства не должны и не желают быть приведены в порядок, и природа содрогается при сей мысли. <...> Должный порядок в природе требует, дабы анатомию рассматривали сравнительно с анатомией, член в сравнении с членом, а не искали проявлений сильных либо слабых, сильных и наисильнейших; ибо недуги не выстраиваются по чину, равно как и лекарства». Свойства также следует воспринимать не как устойчивые, в некотором роде «вещественные» категории, но как рассеянные по всему мирозданию силы, меняющие свой облик в зависимости от места и обстоятельств: жар и холод присутствуют во всем, но, взятые сами по себе, ни на что не «действуют». В высших школах полагают, что есть «только один

жар, только один холод», но в природе сила их не одинакова, «а в сем холоде такая сила, в том другая, в сем жаре одна, в том другая». Итак, врач должен досконально изучить макрокосм, откуда исходят силы и распределяются по микрокосмам, ибо только тогда он сможет понять происхождение недуга и правильно подобрать лекарство: «Вам, докторам и хирургам, надлежит покинуть философию и быть нераздельными в основе своей науки; лишь в практике следует вам разойтись». Иными словами, обладая знанием макрокосмических сил, нужно разделить микрокосмические недуги и лекарства. Взаимодействием природного единства и многообразия занимаются четыре области медицины: философия, астрономия, алхимия и целительское искусство (*proprietas* или *virtus*).

Всякое средство и всякое явление врач должен отыскивать во всех четырех областях, а не только на земле или в организме. «Многоразличен человек, многоразличны лекарства, предписываемые для органов тела; также удивительно различен снег, различны мелиссы, различны аметисты». Конечно, здесь Парацельс впадает в грех формализма, вероятно, не менее догматического и фантастического, чем тот, с которым он так яростно сражался. Однако не следует забывать о том, что к этому учению Парацельс присоединял намного более глубокие знания и тонкое чутье, чем у большинства его оппонентов, а в особенности о том, что он не лечил больных с опорой на свои научные положения, но лишь неумело пытался передать собственный несказанно богатый опыт в виде основных идей — прагматических, а не догматических, — чему как раз служат свидетельством его

положения. Борясь за свою новую истину против расхожих старых знаний, посредством еще не сложившейся, косноязычной речи он хотел поделиться скорее не самодостаточной картиной мира, а своим новым мироощущением врача... видение и чувство Парацельса, в полном соответствии с его натурой, намного опережали возможности его языка.

Об этом следует помнить, оценивая вторую часть книги — трактат об астрономии. Сегодняшние читатели этого текста либо сочтут автора закоренелым консерватором, либо проникнутся к нему особенно теплым чувством, если они относятся к числу тех, кто, повинаясь моде, воскрешает забытые религиозные практики. Учение Парацельса о небесных светилах не является ни чистой астрологией, которая на основе положения планет пытается сделать выводы о людских судьбах, неверно применяя верное знание о влиянии времени рождения на судьбу, ни чистой астрономией, изучающей движение небесных тел ради познания природных законов и Вселенной, но вновь представляет собой изложение его теории о макрокосмических силах и воздействиях, для чего он прибегает — возможно, неправомерно, — к астрологическим знакам, касающимся связи между человеком и созвездиями, и астрономическим знакам, касающимся небесных законов. И здесь вместо устойчивых сфер, тел и веществ, вместо частных осязаемых или видимых проявлений неизменной сущности мы находим незримое взаимодействие меняющихся сил, для которых звезды скорее исполняют роль буквы, нежели слова или даже духа. Как Парацельс конкретнее представлял или ощущал эти влияния, из его «Астрономии» понять сложно, так как

в ней он уделяет больше места критике современных ему взглядов, чем обоснованию своих собственных, не говоря уже о громадной пропасти в четыреста лет, разделяющей наш и его образ мыслей. Что нам ясно из его сочинения, так это то, что Парацельс выступает против вещественной привязки человеческих свойств к определенным небесным телам или расположению звезд, то есть собственно астрологического подхода: «Так знайте же, что звезда на небесах корпуса не имеет, и не висит она, не стоит, не лежит в небе, но как перышко свободно в воздухе парит, так и звезда». Вероятно, здесь он прежде всего возражает Аристотелю с его учением о сферах, согласно которому звезды будто бы неподвижно укреплены на нескольких небесных сводах. Эти слова одновременно согласуются с парацельсовым пониманием человеческого тела: не части его «висят, стоят или лежат», а в нем взаимодействуют силы. «Вещи эти суть местные и независимые, они не требуют врача». Через телесность небеса выражают устройство человека, движение сил, а не сгущение веществ в месте его плотского пребывания. «Подобно тому как солнце, у коего нет субстанции и плоти, просвечивает сквозь стекло, так и звезды действуют друг на друга, также и в организме. А то, что не есть плоть, то есть болезнь, а что есть плоть, то не болезнь». Парацельс пытается объяснить отношение между макрокосмом и микрокосмом, приводя наглядный пример: как яичный желток в белке, как человек в воздухе, так звезды живут в хаосе. При этом остается до конца непонятным, имеет ли Парацельс в виду простую аналогию или общую закономерность: «У курицы сие устроено на свой лад, у яичного желтка — на свой лад, и у человека также на

свой лад». Неясность эта также вызвана его стремлением представить взаимодействия сил при помощи вещественных знаков. Парацельс хочет сказать, «что в нас действуют небесные силы», но подбирает только неудачный образ оболочки, питающей и питаемой веществами. Затем он пытается объяснить, как осуществляется это влияние, что удастся ему лишь путем сравнений и разграничений. Подобно тому как воздух и свет проникают только через окно и не могут пройти сквозь глухую стену, так и звезда воздействует на человека через тело, которое одновременно является окном, то есть — как и стекло, — отверстием и преломляющим, ослабляющим, затемняющим это воздействие средством. Подобно тому как земля ввиду силы притяжения принимает солнечные лучи, также как она впитывает дождь, а скала отторгает его, ибо ей не нужна влага, так и человек принимает влияние звезд благодаря притягивающей силе, предстающей в то же время как потребность. «Тело притягивает к себе небеса». Очевидно, что магические связи, которыми занимается астрология, Парацельс заменяет природными взаимодействиями.

В отличие от новой астрономии, изучающей механику небесных тел, Парацельс придерживается органических представлений: он видит в светилах ростки или, точнее сказать, начала роста и развития. Эту органическую связь между небом и плотью, мыслимую не просто как гармония или судьба, но ни больше ни меньше как процесс зачатия, Парацельс выражает в торжественных и пылких словах, в виде естествоведческого учения, а не астрологических нашептываний: «Если человек из четырех элементов явлен и составлен, но не по содержанию

(т. е. сочетанию веществ — Ф. Г.), как мнят некоторые, но по их природе, движению, существу, плодам, свойствам и т. п. (т. е. созиданию или развитию — Ф. Г.), то из сего понять можно, что в человеке заключено юное небо; сие значит: все планеты имеют в человеке такой же облик, и сигнатуры, и детей своих, а небо — отец их. Ибо человек сотворен по образу небес и земной тверди, ибо он из них сотворен. Если же он из них создан, должен он походить на родителей своих, как дитя, которое всеми членами соразмерно отцу своему. Так и у человека тело с телом его отца сходно; а отец его — небо и земля, вода и воздух. Так как отец его — небо и земля, должен он походить на них всем образом своим, и частями, и не отклоняться от сего ни на волос». Поэтому врач должен знать, что в человеке содержатся все звездные тела. В основе лежит следующее представление: макрокосм заключен и действует в микрокосме точно так же, как в зародыше — плод. Макрокосм в человеке представляет собой то, о чем у Гёте в первом «парацельсианском» монологе Фауста сказано: «все действия, все тайны, вся Мира внутренняя связь». Свойства каждого живого создания целиком содержатся в его семени и одновременно служат движущей силой для развития зародыша. Так макрокосм порождает микрокосм и в то же время пребывает в нем в виде действенного подобия. Кроме того, как становится ясно из другого сочинения Парацельса, здесь определенное значение приобретают неоплатонические идеи. Небо, положение звезд словно представляют идею, которая затем осуществляется в микрокосме, приводя к его возникновению или росту. Отсюда следует, что ход развития микрокосма нужно искать и отсле-

живать в макрокосме: развитие в самом прямом значении этого слова. Земным вещам «предшествуют звезды» (по выражению Парацельса), а их положение содержит «теорику», то есть как раз ту самую идею для воплощения в человеческой практике, то есть проявления и действия. «Александр — это практика, небо — это теорика: ибо в небесах также есть Александр, который присутствует в том, действующем, из коего тот рожден, практику и труды которого он на земле исполнил». «Александр не действовал сам по себе, не сотворил он ни себя самого, ни свои деяния, все это сотворило небо». «Ибо вся история принадлежит небесам, не человеку. Посему следует описывать небо, не человека».

Конечно, это астрономическое учение о влияниях так же невозможно обосновать, как развитие плода из семени: согласно нашему ощущению и одновременно нашей вере, создание вырастает из зародыша, — согласно ощущению и вере Парацельса (но не нашей), положение звезд указывает на жизнь человека и определяет ее. Снова и снова приходит Парацельс к мысли о родительском отношении неба к человеку... такова встречающаяся у него одного разновидность астрономии, которую в противоположность как магической астрологии, так и научной астрофизике и небесной механике можно было бы назвать астробиотикой или наукой о звездном воздействии на живые организмы. Подобно тому как ребенок наследует органы, наклонности, потребности своего отца, так и человек наследует органы и потребности макрокосма. Из звезд и стихий он при помощи силы притяжения, направленной на родственную сущность, извлекает требуемые ему вещества, а с бои в ходе

этого поглощения порождают болезни... устранение сбоев такого рода и есть задача врача. Макрокосм бывает подвержен болезням так же, как и микрокосм. Однако микрокосм не воздействует на макрокосм, верно лишь обратное, и таким образом, зная о нарушениях в макрокосме, можно предсказывать микрокосмические болезни. Небесная сфера для Парацельса — это то, что хранит и приносит нам поворотные мгновения и различные состояния зрелости, расцвет и увядание, гниение и зарождение. В расположении звезд Парацельс видит не причину, а знак, указывающий на эти состояния, подобно тому как венки, вывешенный над входом в трактир, является не причиной, а знаком того, что там подают вино нового урожая.

В том, как Парацельс разлагает звезды на знаки, чтобы прочесть дух болезни, конечно, проявляется средневековый образ мышления, пусть даже его макрокосмическое восприятие роста и развития отличается и от магической астрологии, и от механической астрономии. «Каковы имена звезд, таковы и имена болезней. Сей недуг от Марса, сей от Венеры, сей от Стрельца, сей от Льва. <...> Посему тот, кто причину, истоки, сущность и виды дождя знает, тот знает и причину поноса, лиентереи, дизентерии, диареи. <...> Тот, кто знает происхождение грома, ветра, бури, тот знает, откуда берутся колики и заворот кишок». Итак, звезды представляют собой символы или, если воспользоваться словом, благодаря Якобу Бёме вошедшим в широкое употребление, сигнатуры телесных процессов, родственных им по существу и внешним проявлениям. Это не что иное, как сомнительный символизм, пожалуй, по своим итогам

немногим отличающийся от астрологических мудрствований. Исходя из своей астрономии, Парацельс дал ошибочное объяснение собственному видению медицины, к которому он, вероятно, пришел иным путем. В большинстве наук такого рода — графологии, физиогномике, хиромантии, — встречаются сходные толкования знаков; в них заложен глубокий и правильный смысл — ощущение связи между сущностью и выражением или между общим и частным, но для того чтобы достоверно и строго с точки зрения метода доказать эту мысль, нам почти всегда недостает нужных способов познания, возможно даже, органов восприятия: телескопические явления мы вынуждены изучать микроскопическими органами. Наши помыслы не совпадают с помыслами Господа, и непрекращающиеся попытки наивных или дерзких умов во имя действия привести их к общему знаменателю обречены на провал и закончатся либо отказом от этих притязаний, либо шарлатанством в соответствии с изречением Гёте: «Тому, кто предпринимает слишком многое, суждено стать мошенником».* В фундаментальной воле Парацельса, выраженной в порыве смелой и благочестивой мысли, есть некий соблазн, благородный огонь, как и в том заблуждении, что привело Колумба к открытию нового мира, или в грандиозно искаженной утопии Данте из трактата «Монархия»... сходным образом и воля Гогенгейма оказалась плодотворной, то есть воплотилась в жизнь, хотя и в направлении, противоположном задуманному. И все же применительно к частностям со-

* Из «Разговоров Гёте», собранных и изданных немецким исследователем В. Бидерманом в 1889–1896 гг.

храняется известная доля уродливости и обезображенности.

То же верно применительно к третьей части «Парагранума», посвященной алхимии. И это несмотря на то что в ней Парацельс обращался к вещам более «приземлёным», а для обоснования своих макрокосмических представлений мог бы найти более целесообразные и отвечающие времени аргументы, нежели в случае с упомянутыми выше астрогоническими фантазиями. Особое внимание он уделяет добросовестности и призывает к ней. «Если в изучении и познании сего врач не выкажет превеликого усердия и тщания, то будет напрасным все в рассуждении его искусства. Ибо природа столь изощрена и хитроумна в предметах своих, что без великого искусства употребить их невозможно; ибо она не обнаруживает ничего, что на ее лад завершено бы было, но завершить сие должно человеку. Оное завершение и называют алхимией». Он разъясняет задачу алхимиков, сравнивая ее с задачей ремесленников, из сырья изготавливающих предметы питания и одежды, — булочников, виноделов, ткачей, скорняков, — с той только разницей, что алхимику приходится работать с бесконечно более сложным, опасным, разнообразным исходным материалом и изготавливать средства для жизни и смерти. К этим наставлениям Парацельс добавляет одни из своих самых яростных выпадов против аптекарей того времени — бездельников и невежд.

Алхимия — это посредница между макрокосмическими силами и микрокосмическими веществами: в зависимости от насущных нужд алхимик должен приготовить то, что показывают ему звезды, — растворы, соеди-

нения, смеси. Он должен, к примеру, «астральный Марс и выросший Марс друг другу подчинить, и сопрячь, и сравнить», согласовать меж собой звездные силы и соответствующие им земные соки. Макрокосмическая связь, существующая между звездами и человеческим телом, проявляется также между звездами и растениями или минералами. Химические процессы — кальцинация, возгонка, коагуляция, ферментация, реверберация и т. п., — позволяют лишь показать небесное воздействие на земные вещества, а врач-алхимик исполняет роль старшего мастера, сознательно направляющего и использующего эти явления, чтобы излечить больной организм. «Итак, все сии воздействия происходят от движения, которое порождается временем; ибо во внешнем мире одно время, у человека другое... Хотя мастер может себя самое и работу свою диковинными полагать, все же наивысшее заключается в том, что небо так же диковинно вперемешку варит, смешивает, пропитывает, растворяет и отражает, как и алхимик». В веществах, растениях, камнях, металлах таятся небесные макрокосмические силы, которые высвобождаются лишь в ходе химических процессов — при растворении, смешивании, соединении и т. п. Вызвать эти процессы вполне во власти алхимика, сведущего в небесных сферах, и таким образом ему удастся извлечь целительные силы, сокрытые в веществах. Повторю еще раз: силы и только силы — вот что ищет Парацельс, в полную противоположность алхимикам и аптекарям того времени, занимавшимся исключительно получением веществ. Алхимик должен разложить то, что соединила природа, и должен знать состав, чтобы правильно, «ступень за ступенью», разложить это соеди-

нение. Однако законы смешивания и разделения, благодаря которым из веществ выделяются целебные силы, нигде не записаны... как сами вещества, так и приемы имеют здесь ничтожно малое значение. «Когда процесс завершен, все добродетели его станут явными, а все вы столь простодушны, что вслед за тем помыслите: надобно лишь растолочь, просеять да смешать, сделать с сахаром порошок». Так Парацельс высмеивает ученых-схоластов, которые по мертвым формулам варят свою «суповую похлебку», не имея ни малейшего представления о жизни, лежащей в основе веществ и приемов: и снова мы видим борьбу против этого помешательства на именах и вещах, борьбу того, кто угадывает во всем развитие и исследует силы, кто одинаково далек и от магии понятий, еще сохранявшей свое влияние, и от теории механической причинности, которая приобрела вес в эпоху после Парацельса.

В силу своей восприимчивости к развитию и изменениям Парацельс как алхимик уделяет особое внимание различным состояниям зрелости растений и плодов. Тогда как современная ему медицина довольствовалась готовыми веществами и принятыми названиями, Парацельс изучал стадии роста и извлекал из всевозможных источников — листьев или цветков, сердцевины или коры, спелых или зеленых плодов, — те или иные силы роста, каждая из которых воздействовала на определенный недуг. По мнению ученого, алхимику надлежит не только знать природные явления, но и уметь их воссоздать или применить, безостановочно следовать за природой и пытаться опередить ее на этом пути — и ни в коем случае не заимствовать только внешние ее наслоения и

отходы в качестве готовых средств или допускать самовольное вмешательство в ход природных событий. «Иначе это тому подобно, как если бы некто увидал дерево зимой, но его не узнал и не ведал бы, что в нем сокрыто до тех пор, пока не пришло лето и не показало бы ему, одно за другим, сперва листья, затем цветы, после плоды и что в них еще есть. Равным образом и добродетель, заключенная в вещах, сокрыта от человека, и постичь ее он может разве что через алхимика, как через лето, а иначе это ему никак невозможно. Меж тем как алхимик открывает то, что есть в природе, вы узнаете, что одна сила есть в почках, иная в листьях, иная в цветах, иная в плодах незрелых, иная в плодах созревших, а поскольку преудивительно то, что последний плод на древе разительно отличается от первого, как по форме, так и по добродетелям, то и следует приобретать познания для первоначальных проявлений особенно и так далее до самых последних (т. е. нужно исследовать каждое состояние зрелости по отдельности, начиная с появления всходов и заканчивая увяданием — Ф. Г.). Ибо такова природа. Если природа такова в своих проявлениях, то же самое сказать можно об алхимике с его вещами (веществами — Ф. Г.), когда природа сим же образом перестает обнаруживаться. А именно, дрок достигает процессов, сообразных своей природе, в руках алхимика, так же и тимьян, так же и повилика и все прочие. Теперь видите вы, что в одной вещи не единая добродетель сокрыта, но многие добродетели (добродетель всегда означает силу, вещь означает вещество — Ф. Г.), наподобие того, что вы видите в цветах, у которых не только одна краска, однако же они заключены в единой вещи и еди-

ную вещь собой представляют, и всякая из красок сих чрезвычайную градацию имеет (т. е. очень постепенно сгущается — Ф. Г.). То же самое и о добродетелях разуметь должно, которые в вещах содержатся». Подведем итог: алхимику следует изучать внутреннее развитие, а не внешнее действие, работать с меняющимися силами, а не готовыми веществами, с живым многообразием, а не застывшими, раз и навсегда заданными пред-метами.

Парацельс приводит в пример несколько «текучих», переменчивых лекарственных средств, которые в каждом состоянии действуют по-новому, — в растворе или соединении, при сгущении или разжижении, — желая призвать алхимиков к добросовестности, чтобы они ни в коем случае не убаюкивали свое чутье, полагаясь на неизменные понятия и принятые суждения, но с неугасающим рвением шли вслед за природой-Протеем, настигая или даже опережая ее на тайных тропах. По сравнению с главой, посвященной астрономии, в трактате об алхимии больше бросается в глаза то, что Парацельс ставит практику выше голой теории... он не может и не хочет писать исчерпывающее наставление, где все будет разложено по полочкам, — вместо этого он создает исповедь с обоснованием и требованием метода, для которого необходимы постоянное усилие и труд. Свой богатый опыт Парацельс преподносит не в виде упорядоченных и легко усваиваемых учебных тем, но в виде примеров, служащих для раскрытия истины или предостережения.

Наряду с постоянным круговоротом и многообразием природных сил Парацельс подчеркивает их осо-

бость — а она требует, чтобы врач-алхимик как можно бережнее и тоньше приспособлял особые средства для отдельных органов и отдельных случаев, поскольку каждый медикамент действует и помогает только в соответствующем состоянии, о чем не ведают аптекари, которые смешивают все подряд, «словно варят суповую похлебку». «В сем вареве задыхаются и утрачивают свою силу арсана;* ибо в природе надлежит блюсти ее собственный лад и устройство. Как вы видите, в виноделии свои особые приготовления, в печении хлебов другие... так и вам уразуметь должно, что природа не набивает вперемешку одну форму кушаньем и питьем, мясом и хлебом, но все по отдельности раскладывает». В каждом растении сочетаются яд и благодать, их разделение и извлечение — задача алхимика, который на всем протяжении царства звезд, живых существ и растений исследует состояния зрелости и созревания, взаимное родство душ в макрокосмическом и микрокосмическом развитии. Если стихами из монолога Фауста можно было в доступной для современного понимания форме передать астрономические воззрения Парацельса, то отдельные слова брата Лоренцо из шекспировской «Ромео и Джульетты» заставляют вспомнить его учение о травах. На эти строки Шекспира, вероятно, вдохновили взгляды Парацельса, которые могли дойти до драматурга по множеству путей, но не в виде конкретной научной теории, а в виде ощущений и настроений.

Земля, природы мать, — ее ж могила:
Что породила, то и схоронила.

* Арсана (лат.). — Чудодейственные (тайные) средства.

Припав к ее груди, мы целый ряд
Найдем рожденных ею разных чад.
Все — свойства превосходные хранят;
Различно каждый чем-нибудь богат.
Великие в себе благословенья
Таят цветы, и травы, и каменья.
Нет в мире самой гнусной из вещей,
Чтоб не могли найти мы пользы в ней.
Но лучшее возьмем мы вещество,
И, если только отвратим его
От верного его предназначенья, —
В нем будут лишь обман и обольщенья:
И добродетель стать пороком может,
Когда ее неправильно приложат.
Наоборот, деянием иным
Порок мы в добродетель обратим.
Вот так и в этом маленьком цветочке:
Яд и лекарство — в нежной оболочке;
Его понюхать — и прибудет сил,
Но стоит проглотить, чтоб он убил.*

В заключение трактата об алхимии Парацельс называет три подробных труда, которые он предполагает завершить: «один том по философии медицины, в котором будут сообщены сведения о причинах всех болезней», один по астрономии и «один по алхимии, о способах изготовления медицинских средств... Если вы три сих труда прочтете и умом своим их постигнете, то последуете за мной (также и те, кто от меня отступился)». Воплотить этот замысел в полном объеме Парацельсу так

* «Ромео и Джульетта», акт 2, сцена 3. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

и не удалось. Он не вышел за рамки монографических наметок и афористических трактатов с изложением своих взглядов. «Основание» медицины, если использовать собственное выражение Парацельса, его духовные идеалы и важнейшие мысли, научная воля, а также занимаемое им место в истории немецкого духа, а не только в истории медицины — наиболее отчетливое выражение все это получает в книге «Парагранум».

Четвертый трактат, посвященный свойствам или добродетелям врача, красноречиво свидетельствует о том, насколько вся медицинская мудрость Парацельса вытекает из практического действия, а не размышлений, насколько мысли его идут от сердца и находят основу в деятельном христианстве. В этом трактате Парацельс объединяет свое естественнонаучное учение с богословием, а всю философию, астрономию и алхимию подчиняет единственной цели — смиренной помощи людям: «Ибо врач есть не тот, кто себя самого лечит, а тот, кто лечит других». Врачу надлежит быть агнцем подобно Христу и по-христиански принимать на себя людские беды. Не должно ему быть хищным волком, своекорыстным, бесстыжим, алчным, как большинство его собратьев по цеху: и здесь, призывая к добру, Парацельс не может не бросить гневного взгляда в сторону неправедных коллег — яростно порицая «врачей-волков» и развертывая это сравнение, он исписывает целые страницы. Добродетели, которых он требует от врача, — это самоотверженное добро, честность перед самим собой и перед другими, не позволяющая браться за лечение больного, досконально не изучив саму болезнь и средства борьбы с ней. «Да-да, нет-нет, это есть его

честность, на которую должно ему полагаться...» — «на знание искусства». По мнению Парацельса, Бог любит врача больше, нежели людей других профессий: «поскольку не должен он быть ни паяцем, ни старухой, ни палачом, ни лжецом, ни пустомелей, но должен быть настоящим человеком. <...> Не менее важно, чтобы врач был добрым верующим. Ибо добрый верующий не лжет и исполняет на земле волю Божью». В этих отрывках Парацельс поднимается до высот евангельского красноречия, встречающегося у старых мистиков и Мартина Лютера, и как бы мало ни повлияли его слова на развитие медицины, текст этот важен для понимания духовного источника, из которого исходит его знание и, возможно, его химера, ибо корень у них один: поиск невыразимого, неуловимого, необъятного, но всегда осязаемого и заметного созидательного начала в мимолетных, переменчивых, конечных явлениях, титаническая воля — наперекор всему — к постижению и описанию этого начала. Благодаря своему умному, проницательному восприятию Парацельс шел по верному пути, но его поспешные попытки заглянуть в последнюю тайну природы бывали спорными. Однако здесь, в этой речи или, точнее сказать, проповеди о качествах и добродетелях врача он говорит как верующий о происхождении своего знания, а не о результатах и выводах, как можно было бы ожидать от исследователя, благодаря чему учение Парацельса сохраняет самостоятельную ценность независимо от того, можно ли доказать его положения. «Посему вера у врача должна идти от народа — тогда будет у него вера и перед Богом; ибо от тебя и от народа в тебе хочет Бог, чтобы все придер-

живались истины и жили по истине; а все искусства на земле божественны, исходят от Бога и иной причины не имеют. Ибо Святой Дух возжег свет природы, и посему никто поносить не смеет астрономию, алхимию, медицину, философию, теологию, артистическое искусство, поэтическое искусство, музыку, геомантию,* авгурии** и все прочее. Отчего же? Что способен придумать человек из головы, сам по себе? Даже заплатку на штаны — и ту не пришьет».

После само собой разумеющейся набожности, без которой врач был бы лишен необходимой опоры, самое главное требование — это целомудрие и нравственная чистота, дабы он «свою медицину не употреблял чванства ради». Под чванством Парацельс подразумевает любую неумеренность в чувственных удовольствиях — в том числе распутство и пьянство. «Ибо из такого человека не выйдет истинного врача. Если вознамерится врач доходом своим иначе распорядиться, чем от чистого сердца, то ступит он немедля на ложный путь». Бьющая в глаза роскошь наряда, пышные мантии собратьев по ремеслу, вероятно, вызывали у Парацельса особенное отторжение, потому что при каждом удобном случае он пространно высказывается на этот счет и даже в своем программном трактате посвящает костюму врачей целых две страницы, считая это достаточно важным вопросом. С одной стороны, это говорит о житейских истоках медицины Парацельса, с другой — о его склонности к аллегории-

* Пришедший из арабских стран способ гадания по случайным узорам на земле или песке.

** Предсказания по полету птиц.

ческому, физиономическому пониманию, благодаря которому он из поведения окружающих мог вывести весь их характер и образ мыслей. По его мнению, чванство неизбежно приводило ко лжи и нарушало праведность врача. Эти фразы сказаны серьезно и пылко — самый тон их не допускает и мысли о риторике или показном чтении морали и служит порукой внутренней честности Парацельса.

После добронравия и чистоты он требует от врача *congruitas** — «дабы тот во всех вещах благоугодным образом действовал». Мы не сразу понимаем, что Парацельс имеет в виду, и он сам с очевидным трудом подбирает нужные слова, чтобы выразить эту заповедь. Из множества сравнений, которыми он пытается описать суть понятия, мы можем заключить, чего добивается Парацельс: согласия между врожденными способностями и воспитанием. «Врач подчиняется не человеку, а через природу одному лишь Богу». Таков смысл последующих явных и скрытых сравнений. «Если тело возвращено и выпестовано, не нужно ему никакого врача... („вращено“ — выращено, „выпестовано“ — воспитано. — Ф. Г.) <...> Выпестованное тело есть тело выросшее в том, что касается незнакомых вещей. Тот вырос, кто себя самое ощущает; тот странник, кто отправляется в неизвестность. Таково свойство природного света, что природа им в колыбель человеку светит, розгами в него вбивает, по волоску вытаскивает и так в человеке уместает, что свет сей меньше горчичного зернышка, а вырастает более, чем горчица. Меж тем как горчичное дерево на

* *Congruitas* (лат.). — Согласие, соответствие.

ветвях своих птиц укрывает и притом есть самое малое дерево из всех, найдется ли иное тому толкование кроме того, что юное зарождается в нас, с годами растет и вырастает настолько, что человек уже не сам для себя живет, но и для других... Так человек должен деревом стать и исполнить сей урок Божий и притчу о горчичном дереве — но выросшее старое дерево ничего более вместить не способно и мертво рядом с горчичным зерном. Если же оно мертво, а в притче говорится лишь о зерне горчичном, но не о древесине и ветвях, — как же может из старой ели вырасти айва? Или из старого лавра — молодая бузина? Это невозможно. А еще невозможнее того, дабы старый корректор из типографии, старый управитель, стоящий во главе студенческой бursы, старый священник в школе стали врачами. Ибо врач должен вырасти; как же могут старики расти? Они уже выросли и сгорбились, и покрылись плесенью и мхом, и скрючились, так что ничего из них не выйдет, кроме узлов и наростов. Посему, если врачу нужна твердая почва под ногами, надобно посеять его еще в колыбели, словно зерно горчичное, и в ней же и взрастить». Вероятно, в те годы люди чаще, чем сегодня, в зрелом возрасте меняли свое ремесло на профессию врача, как будто для этого можно было обучиться лишь несколькими приемами и теориями. Будучи знатоком и сторонником развития и роста, Парацельс восстает против этой практики со всем пророческим пылом, на какой он был только способен. И здесь он ратует за органическое начало в противовес механизации и засилью вещественности. «Как же взрастет это в стариках, что уже увядают и пытаются приблизиться к этому, а время уже прошло: они не зацвели, не

пустили ростков, не вытянулись кверху, не были в марте, ничего не ведают об апреле, не знают, зелено в мае или синё, явились в июле — и желают принести плоды? Те, кто растут осенью, лишены времени, лишены умения. Знайте же ныне, что должно быть согласие... что тело одного рода должно расти вместе с природным светом сего рода, так они станут равны меж собою (другими словами, тогда будут совпадать наклонности и знания, развитие и образование, или, говоря по-шекспировски, «кровь и ум» — Ф. Г.). Человек не способен сложить и объединить их, ибо это не в его силах... Что не будет посеяно в свой срок, из того не вырастет добрый побег».

Рука об руку с *congruitas* (согласием) идет верность: по-настоящему возвращенный врач будет добросовестным и надежным доктором, а не легкомысленным недоучкой. «Верность и любовь суть одно и то же». Врачеватель обязан неусыпно печься о благе больных и делать это не для вида, но во славу Божью и во имя больного, подчиняя этой цели все свои знания и совесть. «Верность же заключается в том, что человек ее знает и умеет быть верным... Посему верность зависит от учения». Прежде чем начать лечить больных, врач должен выучиться основательно и глубоко, а применение тщательно выученного — это дальнейший «труд верности». Кто не учился врачебному ремеслу с малолетства, тому не удастся стать совестливым врачом. А только такой врач сможет достичь «искусности» — в соответствии со следующей заповедью Парацельса. Ибо он отличает теоретические знания, даже внешний опыт, от уверенного понимания причин, истоков, влияний, от интуиции, выходящей за

рамки и чистых понятий, и чистых симптомов: искусство — это не одно лишь знание или одно лишь умение, а совершенное понимание того, «что полезно нечувствительным вещам и что им противно; что морским чудовищам, что рыбам, что зверям приятно и неприятно, что здорово и нездорово: это искусные вещи, касающиеся естественных вещей. Что еще? Благословение от ран и их силы, откуда или из чего они берутся, что, кроме того, есть: что есть Мелюзина, что есть Сирена, что есть Пермутация, Трансплатация и Трансмутация... что над природой, что над родом, что над жизнью, что есть видимое, что есть невидимое, что дает сладость и что горечь, что дает вкус, что такое смерть, что полезно рыбаку, что кожевнику, что дубильщику, что красильщику, что кузнецу по металлу, что кузнецу по дереву, что должно быть в кухнях, что в подвале, что в саду, что принадлежит времени, что знает охотник, что знает шахтер, что подобает деревенскому священнику, что подобает другим, в чем нуждается военный человек, что делает мир, что причина духовного, что мирского, что делает каждое сословие, что есть каждое сословие, в чем истоки всякого сословия, что такое Бог, что такое дьявол, что есть яд, что есть противоядие, что в женщинах, что в мужчинах, каково отличие между женщинами и девственницами, между желтым и бледным, между белым и черным, между красным и блеклым, между всеми вещами, почему один цвет тут, другой там, почему короткое, почему длинное, почему благополучное, почему отсутствующее: и как посвященность эту отыскать во всех вещах. Это есть не медицина, но присущее медицине свойство. Подобно тому как у праведного, из-

бранного апостола есть свойство исцелять больных, возвращать зрение слепцам, ставить на ноги хромым, воскрешать мертвых, — так эти же умения свойственны и врачу».* Нагромождая эти картины, Парацельс желает выразить то, для чего у него нет готовых формулировок и что мы можем обобщить следующим образом: искусный целитель должен обладать глубокими познаниями в естественных науках, разбираться в жизненных силах, формах всего живого и взаимосвязях между ними — начиная с растений и животных, человеческих существ и состояний и заканчивая Богом и дьяволом, проникать в смысл и ткань всеобъемлющего, имманентного единого начала.

Кое-что из упомянутого выше может сегодня показаться прописной истиной, кое-что излишним, а все в целом — чересчур многословным: снова и снова мы вынуждены напоминать себе о том, какими были прописные истины того времени, против которых Парацельс возражал посредством этих, в ту пору новых и даже нескананно парадоксальных требований, и каким мировоззрением они были порождены — тем, что сегодня мы способны сформулировать быстрее и проще. Парацельс чувствовал и знал, что невозможно правильно постичь даже самый незначительный симптом болезни, не имея полной картины всего окружающего мира, что ни один орган человеческого тела невозможно объяснить отдель-

* Перевод цитаты до слов «...во всех вещах» приводится по книге: *Парацельс. «О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах»* // Пер. Д. Мироновой. М.: Эксмо, 2005.

но от других... однако в его распоряжении не было ни научных понятий, касающихся организма, окружающего мира, биологии, ни всех тех удобных формул, которые сегодня относятся к обычному умственному багажу школьника или домохозяйки. Тогда ему еще приходилось прилагать усилия, чтобы разъяснить тот взгляд на развитие Вселенной, который приобрел наибольшую ясность и мощь лишь в произведениях Гёте и затем вошел в немецкое общественное сознание в виде неотчетливых представлений. В ту пору, когда Гёте создавал своего «Пра-Фауста», немецкое общество было еще очень далеко от понимания этого вселенского чувства и расценивало его как притягательное или отталкивающее проявление «Бури и натиска». Тем более чуждым оказалось это чувство европейскому духу, когда Парацельс противопоставил его застывшим разрозненным универсалиям, отдельным магическим актам и крупичам знаний, бездушно накопленных учеными на исходе Средневековья или в начале эпохи Возрождения. В задыхающихся или неистовых призывах макрокосмического врача мы чувствуем фаустовскую попытку увидеть Вселенную в каждом создании и во всякой вещи увидеть создание Вселенной.

В самом конце этого «символа веры» Парацельс возвращается к источнику своего целительства — Богу, который в то же время устанавливает пределы возможностей врача. Поскольку врач — это лишь часть природы, обретшая знания, то есть в самом буквальном смысле ее совесть, а природой руководит неисповедимая воля Господня, то и врачебное искусство не простирается дальше природных сил и содействия Божьего: «Посему

знайте, что в больном быть должно: природная болезнь, природная воля, природная сила, на этих трех столпах покоится завершительный труд врача. Если же в больном нечто иное есть, то не следует ему ждать от врача исцеления. Поскольку те, кого исцелил Христос, должны были проявить искусность, чтобы воспринять это лечение; из неискусных же ни один исцелен не был. <...> Сила врача меньше, чем сила самого Господа. В людях и в природе совершил Господь разделение, и никто не способен измерить, или разведать, или постичь, что всякому из нас назначено. Из людей даже самый великий ничего не знает перед Богом. Это, однако же, не относится к врачу; его касается лишь то, что он не держит ответ за волю Божью. Ибо никто не может знать, кому и в чем Бог содействует или препятствует. Врач должен обладать знанием небес, воды, воздуха и земли, и, как следствие, знанием микрокосма, и твердо стоять на знании сем перед своей совестью, не отнимать ничего у Господа и не прибавлять ему, но неизменно уповать на милость и сострадание». Подобно тому как свет не страдает от того, что Бог посылает на землю ночь, так и медицина не страдает от прихода своей ночи, то есть смерти. Итак, в конце врачебного кредо Парацельса мы обнаруживаем не уход в мистические глубины, в котором ищет спасения отчаявшийся или отрекающийся врач, не скептическое *ignorabimus*,* к которому так легко в итоге своих трудов приходят именно те ученые-циники, что

* *Ignorabimus* (лат.). — «Мы этого не узнаем». Ставшее крылатым выражение немецкого физиолога Эмиля Дюбуа-Реймона.

препарируют и разлагают вещества, но счастье мыслящего человека, прославляемое Гёте как высшее счастье: исследовать постижимое и смиренно чтить непостижимое.

Здесь мы хотели бы еще раз кратко очертить место Парацельса по отношению к средневековой вере в понятия и волшебство, новым веяниям Просвещения и вечной мистике. Будучи занят поиском макрокосмических явлений, он одинаково чужд всем трем направлениям: в противоположность современной науке он ищет не вещества и законы, а силы, и верует в непознаваемую Первопричину, лежащую в сфере божественного. В противовес схоластике он ищет опыт, в противовес магии — объяснения и понимания, в противовес мистике пытается проникнуть в суть понятий, не дожидаясь озарения или намеренного затемнения. Из всех путей познания его путь, потаенный и неясный, ближе всего к пути естествоиспытателя Гёте, несмотря на всю разность их масштабов, эпох и личностей. Выше я неоднократно приводил отрывки из «Фауста», но не ради того, чтобы украсить свой труд поэтическими строками, но чтобы при помощи общеизвестного показать малоизвестное. Однако мироощущению Парацельса и его воле к познанию близок не только пылкий и тонкий ценитель природы времен «Бури и натиска», но также исследователь метаморфоз и теоретик света, ближе, чем любое другое умственное направление за два с половиной столетия, разделяющих обоих мыслителей. Бесспорно, Гёте — мы не берем в расчет его неповторимый гений и характер, — видит отчетливее, дальше и глубже Парацельса, но в науке он завершает дело, на-

чатое суровым и блуждающим первопроходцем, в поэзии воспевает смысл исторического пути своего предшественника и увековечивает его в образе Фауста. Ибо вовсе не мелкий шарлатан из Книтлингена,* а могучий алеманнский исследователь макрокосма является наиболее подлинным и чистым носителем той немецкой тяги к познанию мира и миростановления, которая нашла свое литературное воплощение в трагедии о Фаусте.

Остается еще обсудить Парацельса как писателя. Прежде всего напомним, что он не был ни профессиональным литератором, ни прирожденным учителем или проповедником, ни кабинетным ученым или общественным оратором — короче говоря, человеком, жизнь и труд которого априори требовали бы словесного мастерства как на письме, так и в устной речи; а был он практикующим врачом, твердо намеренным лечить больных, опираясь на новое понимание природы и христианскую веру. Знаменитые реформаторы и гуманисты — боголюбивые души, ученые мужи или начитанные собиратели, — проживали жизнь непосредственно в слове, написанном или произнесенном, и раскрываются нам в своих книгах, пусть даже лучшие их образцы — не только и не совсем литература. Парацельс же был в литературе лишь гостем. Даже если бы о его образе жизни и учении нам было известно только из третьих источников, он бы вошел в историю германского духа как самобыт-

* Город в Германии, в котором родился Иоганн Георг Фауст — реальное историческое лицо, прототип доктора Фауста в трагедии Гёте и многочисленных легендах.

ная и мощная личность. Его собственные сочинения позволяют только прояснить, подтвердить или уточнить эти сведения, и оценивать их надлежит скорее как свидетельства о его жизни, нежели как литературные труды... Работы Парацельса, по существу, это расширение его огромной врачебной практики за пределы современной ему действительности и интересны нам потому, что они, не имея чисто литературных притязаний, представляют собой яркое, хоть и не всегда изящное высказывание глубоко мыслящего человека в жанре скорее предметной, чем духовной литературы. Парацельс, как и все пророческие натуры, ощущал первозданную связь со словом и потребность прямо заявить о своем новом видении и чувствовании, не столько ради того, чтобы выступить с декларацией собственных взглядов, сколько для того, чтобы положить конец злоупотреблениям галенистов, не столько ради того, чтобы облегчить одинокую душу, но чтобы проложить свой путь через тернии глупости и заблуждений. Новизна и своеобразие знания Парацельса потребовали использования немецкого языка, так как ученый считал, что статичная латынь не способна в полной мере выразить его взгляды на развитие и жизненные силы. Свою роль сыграло и стремление к публичности, которое побудило уже Лютера и Гуттена показать всему народу, «какова же невеста, с которой пускаются в пляс», как однажды выразился Гуттен. Нам известно, с какими затруднениями столкнулся врач Парацельс, взявшийся за эту задачу — не в пример более серьезными, чем богослов Лютер, или реформатор образования Гуттен, или историки Франк и Авентин, если говорить только о зачинателях немецкой прозы: каж-

дый из них — при условии врожденных способностей к изящной словесности, а Лютер уж точно обладал большим литературным талантом, чем Парацельс, — мог обратиться к предметной области, в которой имелась бы богатая письменная традиция или которая хотя бы могла заимствовать круг представлений из латинских образцов и переложить его на язык немецкой культуры. В распоряжении Лютера имелся чрезвычайно гибкий и живой язык немецких мистиков, в распоряжении Гуттена, Франка, Авентина для обсуждения нравственности, общества, внутренних событий был немецкий язык Лютера, а для всех остальных вопросов им с лихвой хватало языка Цицерона и Эразма: ведь уже благодаря занятиям переводом они могли выковать полновесную немецкую речь, пригодную для того, чтобы выразить новые смыслы в своей области знаний.

Подобных преимуществ у Парацельса не было: мы помним, что латинские медицинские трактаты внушали ему отвращение — что уж говорить о том, чтобы черпать из них понятия и представления! Правда, в своих богословских сочинениях, в «Большой философии» Парацельс тоже смог опереться на изыскания мистиков и Лютера: тут хотя и не идет изматывающая борьба за выражение невыразимого, но проявляется обстоятельность мыслителя, который желает объяснить себе и другим, каков смысл Писания, заключенный в емких и возвышенных образах. В этих трудах стиль Парацельса одинаково далек и от стиля мистиков, которые из глубины таинственной бездны невозмутимо возвещают свои взгляды — то как одинокие молельщики и собеседники вечно присущего божества, то как мудрые

миросозерцатели, отрешенные от набожной толпы и окруженные сиянием внутреннего света, — и от стиля лютеровской проповеди, могучей поступью шагающей от незыблемой Библии к ясной цели разрушения или возвышения, — но обнаруживает сходство с манерой типичных «мечтателей»,* включая даже наделенного литературным талантом Себастьяна Франка, и представляет собой смесь из сосредоточенного наблюдения и поучительного трактата... эти труды Парацельса, в отличие от его естественнонаучных работ, меньше насыщены смыслами и беднее на живые народные образы, если не лишены их вовсе. Отметим, что в них Парацельс выступает не в качестве духовного вождя и первопродводца, а просто как обыватель, который, как и многие тысячи его современников, близко к сердцу принимает вопросы веры и который составил о них независимое мнение, не довольствуясь учениями церковников и сектантов... им он и хочет поделиться со своими ищущими собратьями, однако ему недостает властной уверенности пророка и нетерпеливого миссионерского пыла. Однажды у него даже проскальзывает выражение усталой покорности — как будто эти неудачные попытки заставляют его пожать плечами: «Ну, нет так нет». В медицинских трудах Парацельса мы ни разу не встретим такого тона, несмотря на все горькие разочарования, которые ему довелось пережить как врачу: там он не сомневается в своей победе, а одиночество только добавляет ему гордости и язвительности. Конечно, он и свои назидает

* «Мечтателями» Лютер называл спиритуалистов, в число которых входил и Себастьян Франк.

тельные трактаты воспринимал с той же серьезностью, с какой относился к молитве и чтению Библии... однако не с позиций реформатора, а как один из «мирных землі».* К тому же здесь он меньше, чем в трудах по естествознанию, обращается к своей родной стихии — чувственному познанию макрокосма, имеющему религиозную подоплеку, — и черпает вдохновение из размышлений над Библией. Хотя в богословии Парацельс и выказал себя независимым и оригинальным умом, но и вполнину не столь самобытным и творческим, как в естественной науке, а его богословские трактаты относятся к числу фактов личной биографии, но никак не к событиям, коими он вершил историю духа. Они написаны куда более гладким слогом, чем труды по естествознанию, именно благодаря тому, что Парацельс, следуя традициям богословской прозы, идет по найденному пути... здесь тоже отчетливо слышится биение его мощного сердца — никогда не встретим мы у него книжной болтовни, елейных нравочений или пустословия, которые обнаруживаются у мнимо верующих попов. Правда, нет здесь и искреннего порыва, смелости, размаха, свидетельствующих о близости хаоса, о борьбе неприкрытого духа с потаенным ангелом.

В основе всякого языкового творчества лежит новая вера — неважно, исповедуют ее ради знания, действия или же воспитания: однако дыхание, раздувающее огонь

* Цитата из Псалмов Давида (псалом 34, стих 20). Выражение стало распространенным. В XVIII веке так называли, например, последователей пиетизма.

новой веры, это живительное дуновение может веять с разных сторон, и как раз у Парацельса вера была порождена не его личной трактовкой Бога, но надличностным взглядом на природу. Для описания новых немецких знаний в естественных науках первому исследователю макрокосмических сил нужно было создать свой немецкий язык, точно так же как немецкие мистики, «тевтонские философы» и Мартин Лютер создавали свой язык для нового знания о Боге... К каким же источникам мог прибегнуть Парацельс, создавая немецкое естествознание, из каких образцов мог он почерпнуть свои представления и понятия, чтобы затем онемечить их — как поступал Лютер с Библией, сочинениями классиков и отцов церкви, а Майстер Экхарт — с Библией и трудами схоластов, обращаясь при этом к богатству народной речи? Разумеется, мы не можем доказать происхождение стиля, опираясь только на лексикон Парацельса, или происхождение лексикона, имея в распоряжении лишь заимствования. Языковое творчество и даже выбор нужных слов — это акт зачатия, и подобно тому как отдельные члены и функции не образуют тела, так и словарь вкуче с грамматикой не образует языка, а лексикон ничего не говорит о стиле автора.

Здесь мы хотели бы лишь бегло обрисовать языковую задачу, стоявшую перед Парацельсом на его духовно-историческом поприще, и его попытки решить эту задачу при помощи понятийного запаса схоластов, собственных воззрений и средств народной немецкой речи, которая словно обрела второе рождение благодаря сочинениям Лютера, прежде всего благодаря его переводу Библии. Таковы три чрезвычайно разнородных содержа-

тельных пласта, которые Парацельс так и не смог сплести в едином теле своего стиля, сплести их в цельную ткань. Чтобы из россыпи узкоспециальных терминов создать гармоничный сплав со словами, верно отражающими взгляды и душевные порывы, потребовался бы подлинный мастер слова — проповедник-пророк, как Лютер, или поэт-пророк, как Данте, или поэт-художник, как Гёте. Парацельс не обладал таким даром, а его предметная область и понятийный аппарат были как нельзя более чужды языковому творчеству. Вопросы Бога, народа, церкви легче поддавались огню веры, легче превращались в одухотворенное слово человеческое, чем бесчисленные названия болезней и лекарств и весь тот водоворот внечеловеческих материй, которыми занимался Парацельс. А он в свою очередь, в отличие от современных ученых-естественников и, к сожалению, многих философов и гуманитариев, еще не отказался от попыток облечь свою науку в общепонятные, то есть достойные людей слова, соединить знание с признанием. Парацельс в принципе не мог стремиться к отвлеченной, выхолощенной терминологической тарабарщине, которая была не чем иным, как носителем бесплотных и бездушных, а следовательно, обесчеловеченных смыслов, ибо он изучал не предметы, а силы. С этим и были связаны его настоящие трудности со стилем — трудности, которые испытывает каждый ученый, желающий не только дать упорядоченные имена внечеловеческим объектам, но и выразить человеческую сущность в слове, насыщенном знанием. Вероятно, для естественной науки эта задача была еще сложнее, чем для гуманитарной, поскольку естествознание уже в силу самого своего предмета

уходит далеко от человека, рассматривая всю жизнь на Земле лишь как вещественную массу. Язык — это проявление человеческой души, и тот, кто привык видеть, называть и показывать только вещи, легко утрачивает способность выражать человеческую сущность. В XIX веке гуманитарии начали соревноваться с естественниками по части овеществления всего человеческого, и унижительному наименованию «больной материал», которое встречается у современных врачей, педагоги ныне могут противопоставить не менее постыдное выражение «воспитуемый материал». Всякая наука, даже та, что изучает вещи, в основе своей человекна и именно потому доступна языку человеческой души, и каждый творческий исследователь — то есть тот, кто в своих трудах обращается к первоисточкам, кто по-настоящему полон жизни, — как бы глубоко он ни занимался вещным миром, стремится постичь космос, а космос постижим лишь через человека, но не через вещи. Если исследователь пытается охватить полную картину космоса, об этом можно судить по его стремлению к стилю, которое выходит за рамки простого именованя и систематизации. Чтобы стремление это принесло плоды и владело над мертвым скопищем вещей, конечно, необходим еще особый дар слова, который далеко не всегда сопутствует самобытному видению космоса и страстному поиску человеческой сути: им владели Аристотель и Галилей, Бэкон и Бюффон, Гумбольдт, Риттер и Фехнер, и, разумеется, величайший ученый среди поэтов и величайший поэт среди ученых — Гёте. Другие были вынуждены бороться за человеческий язык, восставая против засилья вещей, иногда успешно, иногда тщетно: среди

них Леонардо, Дюрер, Кеплер, Галлер. В их число входит и Парацельс. Из всех вышеназванных он оказался в самом невыгодном положении: в отличие от итальянского языка эпохи Леонардо, немецкий язык, по природе более расплывчатый и неуклюжий, к XVI веку еще не оформился окончательно, чтобы суметь охватить все множество смыслов... Кеплер писал на латыни, а ко времени Галлера немецкий язык смог приобрести нужную гибкость за два века крупных культурных и исторических перемен.

Парацельс мог черпать языковые средства из трех основных источников: во-первых, из медицинских учебников галенистов, содержавших бесчисленные латинские, греческие, арабские термины и выражения, к которым он обращался неохотно, так как считал, что они не затрагивают сути явлений. Раз эти обозначения вошли во всеобщее употребление, совсем обойтись без них было нельзя, а самостоятельно переименовать все понятия он не мог из-за риска быть непонятым; кроме того, они могли пригодиться ему хотя бы в полемике, чтобы провести четкую грань между старыми и собственными новыми терминами. Вторым изобильным источником, к которому Парацельс прибегал чаще всего, особенно в своих поношениях, была живая речь разных немецких сословий — плод многолетних странствий и близкого знакомства со всеми слоями общества... Наконец, третий источник, иногда совпадающий по содержанию со вторым, — это язык духовно-светских сочинений, получивший развитие благодаря Лютеру, уже не чисто народное слово, но литературный стиль, сложившийся под влиянием гуманизма.

Преобладающее большинство медицинских и химических трудов Парацельса относятся к первому роду сочинений и представляют для истории немецкого духа и стиля не больше интереса, чем медицинский или технический справочник. Они состоят из рецептов и указаний, написанных на смеси латинских, греческих и арабских заимствований с отдельными немецкими вкраплениями — просто заметки на память для практического использования, но отнюдь не стройное учение и тем более не исповедь души, — если не считать разбросанных тут и там нападок на мнимых врачей. Сохранившиеся записи позволяют предположить, что и лекции Парацельса были такой же разноязычной мешаниной, а также объясняют, почему он преподавал и писал по-немецки и почему средства этого языка были столь ограничены. Он хотел разрушить глухую стену академической науки и говорить с народом, он открывал новые знания и должен был рассказать о них новым языком: но при этом он хотел непременно быть понятым и был вынужден ссылаться на общепринятые термины, которые все были заимствованы из других языков. Даже самому независимому и эксцентричному авангардисту, со всеми его волнобами и звенобами, метавами и летавами приходится опираться на слова известного языка — вспомним, как те, кто стремился воспроизвести «первобытный крик», пытались вычлени его из младенческого плача. А Парацельс никогда не был фигляром, желающим соригинальничать, и не стал бы изображать новизну ради самой новизны; напротив, он был невольным первопроходцем, который честно старался описать свой неведомый дотоле опыт

так внятно и доступно, как только возможно. Нельзя не отметить, насколько мучительно дается Парацельсу его рассказ, насколько его новые знания стеснены око-вами чуждых понятий, какая непрерывная борьба ве-дется за разъяснение взглядов, которые предельно по-нятны ему самому, но еще не нашли отражения в язы-ке. Когда Парацельса упрекают в том, что он пишет витиевато, запутанно, многословно, даже умышленно несет вздор, все это свидетельствует лишь о его не-удавшейся попытке передать необразованной толпе спе-циальное и тайное знание, для которого по-прежнему необходима собственная терминология, при помощи описаний и повторов — приемов, которые хороши для разъяснения, но губительны для стиля. Сколько бы народных целительских знаний и практик ни вошло в медицину Парацельса, попытка эта была обречена на неудачу. Что сообщает стилю широкий размах, яс-ную простоту или стройность, так это «изображение подобного»... показ подлинного. Это не упрек, ибо Па-рацельс и не стремился к гладкому слогу, а хотел как можно более убедительно донести свои знания до дру-гих. При иных обстоятельствах мы бы не стали касать-ся его стиля, но Парацельс, наделенный могучей ду-шой, и в качестве учителя был столь яркой личностью, что его манера выражаться оказала сильнейшее влия-ние на науку, причем не только в его узкой области; к тому же вопрос о возникновении научного стиля из стремления ко всеобщему гуманизму представляет ин-терес для всей истории духа.

Вообще стилю Парацельс уделял меньше внимания, чем большинство прозаиков начиная с Никласа фон

Вюле,* которые перелагали на немецкий сочинения, написанные на латыни и других языках. Мы не найдем у него сознательных рассуждений на эту тему, подобных рассуждениям Лютера в «Послании о переводе» или Авентина в предисловиях к его собственным трудам: свой выбор немецкого Парацельс объясняет тем, что этого требует содержание, а не стиль. Лишь в послесловии к трактату в десяти книгах о «французской болезни»,** самой обширной своей монографии, Парацельс высказывается об избранном им слоге — что показательно, с оттенком отрицания: ему-де важнее всего знание и умение, а не красоты языка. «Как завершаются ныне десять книг моих о болезни французской, хочу я читателя предостеречь, дабы не искал он в них пышных речей, ибо их здесь нет. Всем вам хорошо известно, что у всякого врача надобно прежде всего смотреть на теорику и практику, насколько понаторел он в сих вещах. Ибо если врач занят плетением словес, это способ опустошить чужой карман. И посему, если медицина искушена не в красноречии, а лишь в приобретении наглядного опыта, каковой она затем передаст философии, то и повел я свой рассказ о теорике и практике без дальнейших околичностей. Если для кого-то я пишу слишком кратко, разводите мою похлебку водою, если слишком длинно, пропускайте то, что выше

* Никлас фон Вюле (1410–1479) — швейцарский писатель и переводчик. Первым перевел на немецкий язык литературу итальянского Возрождения (произведения Петрарки, Боккаччо и др.).

** Французская болезнь — сифилис.

разумения вашего, если диковинно, то учитесь, дабы в книжице моей не было для вас чудес».

Парацельса интересовали главным образом три вещи: причины болезни, картина болезни, лечебные средства. Первое требует теории и выработанных понятий, второе — описания и нужного угла зрения, подкрепленных богатыми знаниями, третье — указаний по изготовлению и номенклатуре, как и рецепты. Последний вопрос имеет самое отдаленное отношение к задачам писателя... он относится к чистому ремеслу, следующему за духовным и умственным процессом, к деятельности практикующего врача. Я приведу один характерный пример — рецепт средства для заживления ран из «Архидоксов»: «Если же нужно изготовить такое средство, которое по природе своей соединяет и стягивает у всякой раны два лоскута кожи с обеих сторон, дабы вместе они сошлись, наподобие того как клей соединяет две доски, то должна тому быть связующая первопричина, которая единственно на плоть воздействовать может, а значит, действуй так: возьми жженный винный камень, кальцинированный до белизны. Добавь в него Circulatum minus,* перегони его, чтобы получить сухую «мертвую голову»,** настолько сильно, как это возможно, чтобы раскалилось стекло. Затем добавь туда еще того же и сделай все, как и прежде, и продолжай так делать до тех пор, пока Circulatum minus не утратит

* Соединение на основе морской соли. Упоминается в трудах по алхимии.

** В алхимии так называли нерастворимый осадок после химической реакции.

всю серу и не станет таким, каков он сам по себе, а затем распадется на составные части. И это будет средство для заживления ран, которому также можно дать название бальзама для ран, по той причине, что слово „бальзам“ означает bald zamen, то есть „скоро срастется“, и взято из немецкого языка, а вовсе не из латыни. Хотя мы здесь и не много сообщаем о достоинствах сего лекарства, а лишь предписываем использовать его для всякого рода увечий, мы вылечили многие сотни ран одним только омовением, больше, чем мыслимо ожидать от природы, как мы затем показали».

Если сравнить этот рецепт с рецептом, обычным для наших дней, прежде всего в глаза бросится трепетно-живая связь между личностью автора и предметом обсуждения. Нет ни подавления врачебного «я», которое сегодня разумелось бы само собой, ни стремления к обезличенному шифрованию по образцу математики — тому, что является желанной целью даже в гуманитарной науке, не говоря уже о естественной. Здесь, напротив, за средством стоит его открыватель, изготовитель, знаток, предписатель, а его собственные взгляды раскрываются, например, в наглядном сравнении с двумя досками или в замечаниях о целительном воздействии лекарства, или же в учительских описаниях, которые воссоздают обстановку лекционного зала, лаборатории или госпиталя, куда Парацельс водил учеников. Даже такой этимологический каламбур, как объяснение слова «бальзам» немецким «Bald zamen», и выпад в сторону лекарской латыни выдают происхождение его рецептов: они подпитываются живой устной речью — несравненно больше, чем допускается в наше время. Любопытно, что и

рецепты, то есть свои наиболее предметные, узкоспециальные записи Парацельс составляет совершенно в ином духе, чем принято сейчас, стараясь не максимально обезличить свой язык, вплоть до сухих формул, а сблизить свою и читательскую души: неизбежные иностранные названия лекарств и методов — не провозвестники новой медицинской терминологии, а пережитки старой, без которой он не мог обойтись. У Парацельса прослеживается тяга (хоть и не всегда осознанная и реализуемая) к онемечиванию, что значит — одушевлению, освобождению от формул и вещного подхода, но, конечно, высшей его целью было не дерзкое языковое новаторство — там, где хватило бы и прежних обозначений, — а исключительно преобразование духа и дела, которое иногда сказывалось и на форме выражения. Вообще рецепты того времени были длиннее сегодняшних, а у самого Парацельса есть и менее пространные тексты: этот мы привели лишь как характерное свидетельство его направления мысли и ранний образчик стиля немецких рецептов... с точки зрения истории духа важна сама возможность существования такого текста.

Если Парацельс не мог вполне отрешиться от своей энергической природы и свежего восприятия даже в рецептах, где речь шла всего лишь о практических указаниях врача, то задаче описания и обоснования своих взглядов он посвящал себя со всей силой чувств. Парацельс мыслил всем телом, а не только головой; и потому, когда он впускает в свои труды личное восприятие, макрокосмическое чувство и предвидение, — в самом широком смысле, — это полностью отвечает сути его собственного учения. И здесь он избирает направление,

противоположное тому, в котором следует современная наука: в наши дни строжайшим образом разграничивают знак и происходящее, Парацельс же рассматривает знак неотделимо от причин — он как будто нетерпеливо срывает цветок целиком со стеблем и корнями, да еще со всего маху. Логический разбор в научном познании был ему так же чужд, как и высмеиваемая им анатомия с ее искусством разбора на составные части, и если даже по части тонкого, глубокого и мудрого наблюдения, по остроте научного восприятия Парацельс ничем не уступает любому современному ученому, то вот сделать свои наблюдения доступными для современного понимания у него не получается, ибо они окутаны редким в наше время макрокосмическим верованием, неотделимы от его всемирного чувства. Это вопрос не только чуждого видения, но и неуклюжего слога.

Издатель работ Парацельса, врач и исследователь Карл Зудгоф* превозносит его сочинения о сифилисе за «клинические познания и проницательность в области физиологии болезней», выказанные Парацельсом при описании этого неуловимого недуга, «на уровне, которого не достиг после него ни один исследователь до середины XIX столетия». Посмотрим же, как Парацельс излагает свои знания, как ему удастся набросать картину болезни: единство восприятия и толкования, ко-

* Карл Зудгоф (1853–1938) — немецкий врач и историк медицины. Изучал средневековые рукописи по медицине. В 1929–1933 гг. предпринял новое издание трудов Парацельса.

тому он обязан своей значимостью как исследователя и глубиной своей личности, лишает его слог стройности. В распоряжении ученого еще нет сложившегося языка, чтобы разделить идейную, эмоциональную и рациональную составляющие своего знания, что начиная с XVII века стало возможным и для «философов жизни». При этом речь не идет, как можно было бы предположить, о противопоставлении синтетической и аналитической науки, которому сегодня незаслуженно уделяется столько внимания, но исключительно о стилистическом дроблении слитного восприятия, о выдвигании наиболее значимого на передний план, о строгом размежевании между увиденным и помысленным, об отделении воспринимаемых смыслов от самого акта восприятия, об очищении зрительного впечатления от посторонних наслоений, о духовной перспективе. Все это Парацельсу практически неизвестно: с точки зрения стиля он стоит на одной ступени с художниками готической эпохи, которые выстраивали на картинах все в ряд, без учета перспективы. Возможно, мы предпочтем душевную полноту, глубину выражения, жизненную ясность — короче говоря, содержание — таких картин виртуозности более поздней живописи: это никак не отменяет того, что потомки, хотя и лишенные подобной самобытности, лучше владели техникой письма. Точно так же Парацельсу недостает формального мастерства при передаче своих наблюдений.

Возьмем, к примеру, отрывок о видимых изъянах на лице:

«Если же на лице открыто проступают изъяны, будь то в области носа, губ или щек, насколько мы разумеем

воинственный элемент тела, да в такой степени, что открываются язвы, то недуг сей называется *ferrugo*,* а название сие происходит от того, что болезнь эта, подобно ржавчине на железе, разъедает тело сверху, а не изнутри, и прежде изгоняет плоть через поры, а затем проникает внутрь. Язвы эти образуются только в воинственной части тела, то есть на лице; а в прочих частях, таких как кожа на руках и стопах, они не растут. Причиной тому кровеносные сосуды, что во множестве проходят через лицо, но в руках и подошвах ног такого их количества нет.

Появление сих открытых язв двумя сущностями определяется: первая берется из минеральной жидкости и называется *sal sanguinis*,** вторая — из сока воинственной части и называется *sal martis*.*** Из этих двух солей и образуется открытая язва, в которой их соединение происходит. Начало же сему таково: если к носу приливает много крови, или же десны сильно кровоточат, или в голове собирается кровь, и затем это прекращается, то кровь притекает к воинственной части тела, или в той же воинственной части лопаются сосуды, и тогда открытая язва располагается в том самом месте, где лопнули эти сосуды. Бывает иное начало, если на лице есть бородавки, на носу или около губ. Когда бородавку прижгут или срежут, то своим корнем она врастает в сосуд, и затем на сем месте появляется открытая язва. Далее надобно отметить, в чем имеются различия. Если

* *Ferrugo* (лат.). — Ржавчина.

** *Sal sanguinis* (лат.). — Кровяная соль.

*** *Sal martis* (лат.). — Соль Марса.

язва случается в области носа и поражает нос, она носит название „рак носа“. Если же затронут сосуд, который большей частью по щекам проходит, то язва называется фистулой. Если язва заходит в область ушей, то есть открывается ближе к ушам, чем к губам, то тогда она называется чирей. Однако всякий раз, когда язва возникает ближе к губам и носу, то причина тому — проростки сосудов».

Отличительная черта этого описания болезни — соединение в одном отрывке наблюдения, именованя, доказательства. Чувственное восприятие и истолкование все еще неотделимы друг от друга, и одни и те же слова служат то для обозначения процесса, то для простой констатации факта. Во взглядах Парацельса на природу кроется объяснение того, почему он мог трактовать любое явление лишь как субъект и предмет воздействия одновременно, но поскольку предлагаемые им обоснования имеют и фантастическую подоплеку, вроде астрогонической связи между планетой Марсом и человеческим лицом, и реальную, как, например, ток ядовитых веществ по сосудам, то самые явные признаки не находят должного подтверждения, и изложение у Парацельса отстает от его видения. С другой стороны, возможно, все эти фразы следует воспринимать только как вступление, предваряющее клиническое описание особого случая болезни, как первую попытку на немецком языке показать материальное влияние, исходя из самого явления. Парацельс хочет сделать свои объяснения понятными и, главное, убедительными, но при этом он рассуждает сразу и с точки зрения видимого больного тела со всеми сопутствующими симптомами, и с точ-

ки зрения невидимых причин и процессов, вызвавших недуг. В его текстах конкретные перечисления перемешаны с отвлеченным следованием. А как неуклюже и многословно выражены логические отношения: причина, условие, следствие — другие ему едва ли известны. Можно заметить, что подчинительная связь пока еще дается Парацельсу с трудом. Он мыслит простыми предложениями, как и другие немецкие авторы того времени, однако для медицинской этиологии ему требуются выводы, обоснования, ограничения, что заставляет его переосмысливать скопления фактов и излагать их в виде причинно-следственных связей — и это в области, где даже явное казалось новым и чуждым, не говоря уже о скрытых первопричинах. Поэтому для выражения причины Парацельс по возможности использует несколько равноправных предложений, например: «Появление сих открытых язв двумя сущностями определяется: первая берется из минеральной жидкости» и т. д. Или в другой форме: «Начало же сему таково: ежели к носу приливает много крови...». Или: «Язвы эти образуются только на лице; а на руках и стопах они не растут: причиной тому кровеносные сосуды». Очень часто вместо слов «потому что» или «так как» после главного предложения он пишет «причиной тому» и приводит обоснование в виде такого же самостоятельного предложения. Эти отношения зависимости, которые хочет обозначить Парацельс, мы бы сегодня выразили в виде грамматического подчинения.

Эта же неспособность к логической абстракции приводит к повторению существительных и глаголов. Вместо того чтобы сказать «язва образуется здесь, а не

там», Парацельс говорит: «язва образуется здесь, а там не образуется» — каждое действие он должен непременно отобразить в слове. Когда в отдельных случаях он все-таки заменяет повторяющееся существительное местоимением, логически-абстрактные «он» или «она» кажутся ему недостаточными, и Парацельс дополняет их словами «тот же самый», эмоционально еще более окрашенными. «Если в той же воинственной части лопаются сосуды, то открытая язва располагается в том самом месте, где лопнули эти сосуды». Это не только стремление к ясности, но и недостаточное развитие логической абстракции из-за полноты зрительного восприятия, которое ограничено не только чисто в пространственном, но и во временном отношении и содержит зачатки абстрактного мышления, опережающего способность автора к выражению.

Затруднения эти возникают только тогда, когда речь идет о мире вещественном, законы которого — впервые на немецком языке, — стремился объяснить Парацельс, о природе порождающей и порожденной.* Ибо духовные взаимосвязи уже нашли свое отражение в нашем языке, начиная с Майстера Экхарта и Лютера: немецкая душа была рационализирована — то есть получила, насколько это возможно, разумное обоснование — гораздо раньше, чем немецкое восприятие. Между тем как для восприятия еще долго существовали лишь «где» и «как», у немецкой души уже была своя философия с такими

* *Natura naturans* («природа порождающая») и *natura naturata* («природа порожденная») — схоластические термины. Используются в философии Спинозы.

понятиями, как «потому», «чтобы», «если», «для того», «несмотря» — то есть духовное осмысление. Временные и пространственные отношения, а также их чувственное познание стали тем источником, откуда появилось духовное осмысление души и ее словарь; причина, условие, намерение, уступка — все представляет собой одухотворение чувственного опыта, подобно тому как любой язык вырастает или создается из зрения, слуха, осязания и затем достигает высот чистой абстракции, ведь в языке не найдется ни одного нечувственного, умозрительного слова. Однако здесь не идет речь о возникновении всех тех духовных смыслов, что лежат в основе придаточных предложений, в основе подчинительной связи со значениями причины, предположения, цели, следствия, уступки... все духовные отношения берут начало в чувственном мире, но вот применять их к собственно материальному миру немецкие авторы начали позже, чем к миру души: материальный мир был по-прежнему доступен и понятен чувственному восприятию в своих самостоятельных проявлениях, в то время как миру души, порождающему сознание и озаряемому сознанием, требовался язык, который нужно было откуда-либо заимствовать. Уже сама эта постановка задачи вызывала к жизни такие отношения, которых не могло породить наивное восприятие, ограничивающееся познанием пространства. Совершить переход от узкого пространственного восприятия к духовному постижению с его проблематикой позволяет восприятие времени, хронологической последовательности, из которого затем развились наиболее значимые духовные отношения: отношения причины, обращенные к прошлому, и отношения цели,

устремленные в будущее. К тому времени, когда благодаря поискам Бога и изучению самой души причины и цели ее существования уже давно нашли свое выражение в немецком языке (здесь я говорю только о немецком), Парацельс впервые попытался выявить причины и цели природных процессов при помощи чувственного наблюдения, но при этом он еле-еле смог уйти от примитивного подхода, рассматривающего тела в пространстве. Ему стоило больших трудов выразить наивное восприятие через духовные понятия. Стоит Парацельсу заговорить о своей личной позиции, как он становится красноречив и приобщается к тем духовным отношениям, которые обрели языковое выражение благодаря Лютеру — я еще раз приведу достопамятные слова Парацельса: «потому что я немец, потому что я иной, потому что я один». Здесь он употребляет смелое и ясное «потому что» — полную противоположность громоздкому «по причине того» и неловким перечислениям, которые мы встречаем в его медицинских работах по этиологии.

Большое достижение Парацельса в истории немецкого духа состоит в том, что он не только смог разглядеть в природе взаимосвязи, влияния и процессы развития, но и впервые переложил их на духовный язык. Открытие этих взаимодействий ставит Парацельса во главе естественной науки, но умонастроение, в котором он их увидел и описал, делает его одним из самых выдающихся немецких мировидцев. Его сугубо научные труды по естествознанию примечательны с точки зрения истории духа; для немецкого языка, уже освоившего богословие и историю, это были первые робкие шаги на новом по-

прище. Великих естествоиспытателей, внесших весомый вклад в развитие немецкого языка, не в пример меньше, чем великих историков: вплоть до эпохи Гёте Парацельс оставался единственным. Достойным последователем его дела стал Теодор Фехнер, занимающий место между зрелым гуманизмом и «точной наукой». Располагая детально разработанной терминологией, наука вышла за рамки общечеловеческого языка души и духа. Научная речь стала таким же орудием ремесла, как микроскопы и реторты, акушерские щипцы и аккумуляторы. И если наряду с этим многие ученые докладывали о своих исследованиях в сухой или высокопарной манере (как, например, Дюбуа-Реймон), это было не языковым творчеством, а следствием образования XIX века, стригущего всех под одну гребенку, против чего блюстителям немецкого языка приходилось порой весьма ожесточенно сражаться. Последним классиком немецкого естествознания — «знания», понимаемого не только как наука, но еще и как вместителище духа и души, — был Александр фон Гумбольдт... его космос замыкает ряд, который начинается с «Парагранума». В языке Гумбольдта взошли и ярким цветом расцвели темные сухие семена, посеянные Парацельсом.

Подлинное красноречие Парацельс обретает не в запутанных научных трактатах, где он борется с неподатливым материалом, а в исповедах и апологиях, где гнев и вера раскрепощают ему душу и язык. Гнев и вера вдохновляли Парацельса, хотя и не могли сделать таким же великим оратором, какими были знаменитые проповедники: стиль его научных и учебных трудов не может сравниться с даром слова, присущим Бертоль-

ду,* Гейлеру,** Экхарту, Лютеру и Себастьяну Франку. Как бы ни стремились их души в свободном порыве раскрыться через слово, но ум уже ориентировался на определенную форму, словесный жанр, подчинявший себе содержание — этому они были обязаны строгой литературной выучке, полученной в школах патристики, схоластики или гуманизма. С детства воспитывались они на классической латыни, впитывали ее торжественный и строгий слог и профессионально обучались искусству проповеди — неважно, собирались они в будущем пойти по этой стезе или нет. Парацельс же сызмала привык иметь дело не со словесной вязью, а с безмолвной природой, да и при изучении книг по медицине обращал большее внимание на сам предмет, нежели на слова и обороты. Его красноречие случайно, это следствие минутного всплеска чувств, а не длительного волевого усилия. Каждому приходилось видеть простого обывателя, ожесточенно размахивающего руками перед горсткой сограждан, путника или лесничего, которые рассказывают истории за кружкой пива — они ничего не смыслят в ораторском искусстве, но есть нечто, чем они хотят поделиться или что выводит их из себя... речь так и льется, какие только словечки не приходят на ум, когда рассказчики кого-то срамят или превозносят, между тем как обычно они не способны связать и двух слов, а тем более выступить с речью, подобно школьному учителю, свя-

* Бертольд Регенсбургский (1210–1272) — монах, один из наиболее известных проповедников Средневековья.

** Гейлер — упоминавшийся ранее Гейлер фон Кайзерсберг.

щеннику или стряпчему! В свой рассказ или тираду они не скупясь вставляют «стало быть», «слушайте» или «как говорится», перемежают их риторическими вопросами и восклицаниями... таковы естественные формы живой речи, которые позже превратились в искусственные. Если теперь мы представим на месте честного бюргера гениального ученого с широчайшим кругозором и глубокой душой, как у Парацельса, то получим естественную форму его исповедальной поэтики. Происхождение ее иное, нежели у языка его ученых трудов — она порождена другой частью его существа, но точно так же не знает мер и границ: Парацельс стремится не столько поведать о том, что он видел, сколько поделиться переполняющими его чувствами, причем его неотступно преследуют видения из прошлого жизненного опыта, прежде всего — лекари в алых мантиях, с пальцами, унизированными перстнями, разряженные лекарские жены, обобранные до нитки пациенты, жалкие медики-эпигоны, но кроме того, впечатления, связанные вообще со всеми условиями и ремеслами и необъятным миром природы. Даже Лютер не мог похвастаться большим запасом наглядных примеров. Многообразие и богатство сравнений, которые можно проследить по сочинениям Парацельса, и сердечная искренность тона, которую ничем не измеришь — таковы две особенности его стиля, трогающие нас и сегодня, такова исключительная сила восприятия, ощущаемая в пространстве как широта воззрений, и душевная мощь, воспринимаемая во времени как ритмика. Содержание трудов Парацельса открывается лишь посредством исторического размышления, а грамматические особенности его прозы — нагромождение слов, витиеватости, повто-

ры, вопросы, восклицания, обращения к читателю, — объясняются больше жизненными обстоятельствами автора, нежели его характером.

Что до характера, то бурная, сумрачно-страстная фаустовская душа Парацельса продолжает занимать наши мысли, особенно в связи с его местом в истории, научными свершениями, выражением его личности. По силе и глубине духа с ним не может сравниться ни один немец XVI века — лишь немногие представители других эпох, — однако чтобы остаться в нашей памяти таким же влиятельным, как Лютер, деятельным и непреклонным, как Гуттен с его трагической судьбой, основательным и разносторонним, как Дюрер, любимым в народе, как Ганс Сакс, Парацельсу недоставало несомненного и обыденного предметного мира: ибо образы исторических героев складываются лишь в союзе творческого «я» и окружающей действительности. Дело не в том лишь, какая сила есть у человека, но и в том, чтобы приложить усилие к нужной точке... не только наполнение, но и сама «материя» личности определяют заметность ее явления. Пророк Божий, народный предводитель и знаток человеческой природы скорее привлекут к себе взгляды и души, чем сколь угодно крупный ученый и специалист... в отличие от гуманизма знаковых фигур того времени, упомянутых выше, всеобщий гуманизм Парацельса нужно прежде различить в разноликой ученой среде, чтобы увидеть в нем духовный и исторический образ. За рамки чистой науки, узкой медицинской и естественнонаучной области Парацельс выходит именно благодаря своему мощному и глубокому гуманизму, который явственно ощущается во многих его трудах, вы-

ходит дальше, чем любой другой немецкий врач, и даже среди немецких естествоиспытателей — разумеется, за исключением Гёте, — один только Кеплер не уступает ему по яркости личности... не Гаусс и не Гумбольдт, не Галлер и Иоганн Мюллер,* не Либих** и Гельмгольц, и даже не Вирхов.*** Оставляя за скобками ценность научных изысканий Парацельса, мы признаем, что он заслуживает места в немецкой истории духа и истории словесности больше, чем кто-либо другой — благодаря выражению своей души как в собственных трудах, так и помимо них, благодаря борьбе нового видения с неподатливым материалом, благодаря своей провидческой силе и новизне опыта. Да, это решительное вторжение души в заповедную и деликатную область науки — уже само по себе духовно-историческое деяние, столь же важное, как и новые лечебные средства и приемы, предложенные Парацельсом, и его открытия в области фармакологии, биологии, химии, терапии, и обоснование витализма или других научных теорий. Превыше всех теорий, методов и трактатов — человек, в котором «что» и «как» не разделяются на объективные результаты и субъективные пути их достижения (пусть даже эту границу мы проводим впоследствии), а выводы и сущности, видения и внутреннее зрение, язык и слова предстают лишь выражением, стилиевой формой той самой действенной силы. Таким человеком был Парацельс, единственный немецкий

* Иоганн Петер Мюллер (1801–1858) — немецкий биолог.

** Юстус фон Либих (1803–1873) — немецкий химик.

*** Рудольф Вирхов (1821–1902) — немецкий врач, анатом и физиолог.

врач, личность которого пережила его труды, почти что превратившись в легенду. В лице Парацельса воплотилась немецкая естественная наука, еще не раздробленная на бесчисленное множество узких областей знания, но объединенная человеческим началом, уже не стесненная рамками безличного мышления, но представляющая собой живое творчество и высказывание особенной души.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За нижеследующие дополнения и поправки приношу самую искреннюю благодарность Карлу Зудгофу.

К стр. 6–7. Действительно ли Парацельс получил при крещении имя Филипп, доподлинно неизвестно. Ауреолом (от *лат.* aureolus — золотистый) его назвал отец из-за светлого цвета волос.

Из сохранившихся документов до конца не ясно, был ли отец Парацельса «городским лекарем» в Филлахе. Возможно, его пригласили туда лечить горняков и рабочих на рудоплавильном заводе.

К стр. 7. Документальных свидетельств о школе горного дела, основанной Фуггерами, нет.

Что касается связей с Лавантом, они больше относятся к молодости Парацельса. Речь идет скорее о бенедиктинском монастыре, нежели о школе при Санкт-Андре.

В Базельском судебном акте совершенно точно указан город, в котором Парацельс получил образование: у него была докторская степень университета Феррары.

К стр. 14. Отсылка к Тритемию основана на ошибочном понимании фрагмента из третьего трактата во второй книге «Большой хирургии» Парацельса: там Гогенгейм упоминает о многих настоятелях, чьи сочине-

ния его многому научили, «как и те, что из Шпангейма». Шпангеймы — чрезвычайно влиятельный графский род в Каринтии, а один из членов этой обширной семьи был известным настоятелем бенедиктинского монастыря в Лаванте.

То обстоятельство, что в 1519 году Парацельс был в Шваце, никак не подтверждено и маловероятно. Не подлежит сомнению, что он побывал там в 1534–1535 гг., а также предположительно в ранней юности.

К стр. 34–35. Описание «Люцерны» как гильдии хирургов ошибочно. В «Люцерне» служили также и врачи, и Гогенгейм обосновался в Страсбурге именно в качестве врача. В городских актах Страсбурга есть запись о получении права гражданства страсбургским городским врачом Хансом Видеманом (Салицетом), в которой говорится: «служит в Люцерне».

Точное имя участника научного диспута в Страсбурге в 1525–1526 году — Венделин Хок фон Бракенау.

К стр. 36. Дольше всего Парацельс пробыл не в Базеле, а в Клагенфурте — с середины лета 1538 года по меньшей мере до марта 1540 года, совершая только кратковременные поездки по Каринтии и Штирии для лечения больных (письмо от 2 марта 1540 года). Он уже тогда болел и не смог приехать к правителю Каринтии для врачебной консультации, объяснив это своим плохим самочувствием и тем, что, по всей вероятности, скоро уедет из герцогства — предположительно в Зальцбургскую землю, куда его пригласил новый епископ Эрнст Баварский. Последний был знаком с Парацельсом по Нойбургу на Дунае, где впоследствии в течение нескольких веков хранилось рукописное наследство Гогенгейма.

В Имперском архиве в Мюнхене до сих пор можно найти акт о передаче рукописей.

К стр. 44. «Канон врачебной науки» Авиценны упомянут по ошибке. Парацельс пишет о том, что в Иванов день он бросил в костер «сумму книг», дабы «все несчастья превратились в дым». «Суммой книг» называли популярный медицинский компендиум, незадолго до того эпизода переизданный в Лионе.

К стр. 63–65. Приведенное описание странствий Парацельса требует уточнения: весной 1537 года он остановился в Эфердингене, затем некоторое время пробыл в Мериш-Крумау. Проездом через Пресбург (Братиславу) он в конце сентября прибыл в Вену и провел там зиму 1537–1538 гг., весной отправился в Каринтию, где оставался до весны 1540 года. В том же году он переселился в землю Зальцбург. Сведения о посещении Мюнхена, Граца и Бреслау в период после 1537–1538 гг. недостоверны.

К стр. 69. Первое издание Хузера выходило до 1591: первые пять томов были напечатаны заново с указанием прежнего года издания.

Примечательно, что Гогенгейм упоминает Марсилио Фичино, называя его первым врачом Италии. При этом самого Парацельса по праву можно назвать первым врачом Германии.

Фридрих Гундольф и его «Парацельс»

Фридрих Гундольф (имя при рождении — Фридрих Леопольд Гундельфингер; *Friedrich Leopold Gundelfinger*) вошёл в историю как выдающийся германист, поэт, переводчик и литературовед времён Веймарской республики, снискавший при жизни славу одного из самых неординарных и противоречивых историков немецкой литературы.¹

Фридрих Леопольд Гундельфингер родился 20 июня 1880 года в Дармштадте в семье немецкого математика проф. Зигмунда Гундельфингера, происходившего из преуспевающей еврейской семьи, занимавшейся продажей текстиля. Отрочество будущего германиста прошло в престижной гимназии ландграфов Гессен-Дармштадских Людвига V и Георга II (*Ludwig-Georgs-Gymnasium*). Среди других видных воспитанников гимназии, принадлежавших к старшему поколению современников Фридриха Гундельфингера, нельзя не упомянуть знаменитого на весь мир поэта Стефана Антона Георге и писателя

¹ *Osterkamp E. Friedrich Gundolf // Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts. Hg. von Christof König. Hans-Harald Müller. Werner Röcke. Berlin, 2000. S. 162.*

и переводчика Карла Йозефа Вольфскеля, сыгравших решающую роль в жизни германиста.²

В апреле 1899 года Карл Вольфскель знакомит на тот момент восемнадцатилетнего юношу, начинающего филолога и литературоведа Фридриха Гундельфингера с поэтом Стефаном Георге. Последний производит на юношу столь сильное впечатление, что Гундельфингер под чарами Георге не только становится его ближайшим другом и сподвижником, но даже меняет вместе с братом Эрнстом фамилию отца на немецкую — Гундольф.³ Оба брата входят в знаменитый «кружок Георге» (*George-Kreis*),⁴ объединявший многих известных немецких деятелей искусства и культуры, склонных к экспериментам и придерживавшихся принципа «искусство ради искусства». Большинство членов кружка публиковались в созданном Стефаном Георге совместно с Карлом Августом Кляйном журнале «Листки (для) искусства» (*Blätter für die Kunst*). Журнал пользовался славой издания для узких ценителей и имел успех не только в силу публикуемых в нем материалов, но в частности, благодаря большому вниманию к деталям издания со стороны редакторов, прежде всего, со стороны самого Георге, тщательно разрабатывавшего стиль журнала. К числу авторов «Листков (для) искусства» принадлежал и молодой Фридрих Гундольф, под влиянием Георге писавший стихи.

² Schmitz V. Gundolf, Friedrich Leopold // *Neue Deutsche Biographie* 7 (1966). S. 319.

³ Osterkamp E. *Op. cit.* S. 163.

⁴ Osterkamp E. *Op. cit.* S. 163.

Экспериментальный характер творчества, связь с движением фёлькиш, интерес к древним культурам, критика позитивизма, таинственность, аристократизм и артистичность — вот, что влекло немецкую молодёжь к поэту Георге и его окружению. В то же время, нельзя не отметить, сколь пестрыми и разномастными были члены этого творческого объединения и сколь в действительности противоречива была его деятельность и слава. Бросается в глаза, что кружок Георге вошел в историю не только благодаря своеобразию творчества его участников, но и в силу других обстоятельств, в частности, как отмечает Томас Карлауф, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации ряда его членов,⁵ включая Георге и Гундольфа,⁶ а также в виду того, что кружок Георге объединял национально-мыслящих немцев и евреев, ощущавших свою связь с германским миром. В этой неоднозначной среде формировалось мировоззрение и стиль молодого ученого Гундольфа, в ту пору только начинавшего изучать германистику.

В 1898 году Фридрих Гундельфингер поступает на отделение немецкой литературы в Мюнхенский университет, но уже на следующий год переходит в Гейдельберг,

⁵ См.: Der Übervater der Reformpädagogik. Päderastie aus dem Geist Stefan Georges? Gespräch mit Thomas Karlauf // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. April 2010. Также см.: Karlauf T. Stefan George. Die Entdeckung des Charisma. Blessing, München 2007.

⁶ Отметим, что именно роман и последующее сочетание браком Фридриха Гундольфа с экономисткой Элизабет Заломон послужило основным поводом для раздора между Гундольфом и Георге, о чем свидетельствует их эпистолярное наследие.

а в зимний семестр 1900 года уходит в Берлинский университет, где изучает историю немецкой литературы и искусствоведение у таких именитых и талантливых профессоров как Эрих Шмидт, Густав Рёте и Генрих Вёльфлин. Большое влияние на становление философского мировоззрения Фридриха Гундольфа оказывает Вильгельм Дильтей. Через его творения германист проникается духом философии жизни и, по сути, вводит ее положения в литературоведение, тематизируя «жизнь» (*Leben*), «чувство жизни»⁷ (*Lebensgefühl*) и «жизненный дух» (*der lebendige Geist*). По-видимому, на Гундольфа произвели впечатление лекции Вильгельма Дильтея в Берлинском университете, так как его литературоведческие исследования уже в ранний период творчества превращаются в аналитику жизненного мира, что сближает его с такими литературоведами как Рудольф Унгер и Оскар Вальцель. У Вильгельма Дильтея Гундольф заимствует методологию, основываясь на которой он, с одной стороны, фокусирует литературоведческий взор на значении личностных переживаний автора, а с другой — критикует исходные положения позитивистов.

Фридрих Гундольф прямо причисляет себя к духовно-исторической школе. Для последней характерной чертой является воспевание решающей роли личности в истории, в которой иррациональная сила жизни обнаруживает столь яркое воплощение, что человек раскрывает в себе стремление и силу изменять мир. Таким

⁷ Отметим, что к термину «чувство жизни» обращается уже Иммануил Кант в «Критике способности суждения» для характеристики опыта динамического возвышенного.

образом, интенсивность жизни, наполненность жизнью становится ключевым фактором для того чтобы творить историю, и следовательно, оказывается критерием исторической значимости. С этой точки зрения «Аттила, — заявляет Гундольф, — гораздо ближе к культуре, чем все эти Шоу, Метерлинки, д'Аннунции и им подобные».⁸ Тонус бытия, чувство жизни, воля к власти *возвышают* личность: человек обнаруживает в себе силу вести за собой, и чем интенсивнее в нём эта сила, тем величественнее его свершения. Именно это чувство жизни объединяет великих поэтов и легендарных самодержцев: к этой мысли Гундольф приходит уже в ранний период и в полной мере выражает ее в работе «Поэты и герои» (*Dichter und Helden*. Heidelberg, 1921), в которой, с одной стороны, речь идет о бессмертных властителях слова (Данте, Шекспир, Гёте), а с другой — о могущественных правителях (Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон).

Мысль о том, что интенсивность жизненного духа является определяющим критерием в оценке личности в истории, пронизывает все творчество Гундольфа.⁹ Именно эта мысль нередко ставилась германисту в вину и становилась объектом острой критики со стороны марксистских философов, называвших Фридриха Гундольфа предтечей фашизма и гитлеризма. В частности, столь резкую оценку литературоведческим очеркам Гун-

⁸ Цит. по: *Sprengel P. Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900–1918. Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkriegs*. München 2004. S. 801.

⁹ *Heuschele O. Friedrich Gundolf*. Bad Wörishofen 1947. S. 11.

дольфа дает венгерский философ Дьёрдь (Георгий Осипович) Лукач, разбирая труды германиста про Фридриха Гёльдерлина и Георга Бюхнера.¹⁰

Справедливости ради следует отметить, что хотя Фридрих Гундольф действительно принадлежал к национально-мыслящим немецким германистам и, как и многие современники, не был чужд духу консервативной революции и немецкого национализма, все же нарочито-обвинительный взгляд на Гундольфа сильно огрубляет понимание подлинного смысла его произведений и бьет мимо цели. Гундольф видел свою задачу в провозглашении «нового царства европейских ценностей» (*ein neues Reich der europäischen Werte*),¹¹ понимание которого, в интерпретации германиста, сильно разнилось с его воплощением. Национализм Гундольфа имел прусские корни: Гундольф видел в нем скорее призыв сплотить европейское общество вокруг немецкой нации по культурному признаку, нежели разделить Европу по этническому. Гундольф был убежден в том, что немцами не только рождаются, но и становятся, принимая через язык волю нации. В то же время национальный дух трудов Гундольфа имел узкую литературоведческую подноготную: германист видел свою задачу в том, чтобы изменить дух немецкого литературоведения при посредстве философии жизни и романтизма и избавить его от тех, как он полагал, «пороков», которые он усматривал в господстве позитивистской методологии. Недовольство су-

¹⁰ См.: Лукач Г. К истории реализма. М., 1939. С. 48–49, 50, 84, 93.

¹¹ Цит. по: Sprengel P. Op. cit. S. 801.

костью современной ему науки и критический характер его мышления обнаруживаются уже в диссертационном исследовании Гундельфингера «Цезарь в немецкой литературе» (*Caesar in der deutschen Literatur*), завершённом в 1902 году в Берлине.¹² Примечательно, что черту Фридриха Гундольфа писать не столько научные, сколько, «schöngeistige», т. е. «эстетические» тексты, отмечает уже в своей рецензии на диссертацию Гундольфа Эрих Шмидт.¹³

Существенное влияние на становление авторского языка Гундольфа оказывает его неугомонный друг Стефан Георге. Вместе они переводят на немецкий язык Уильяма Шекспира, создавая своего рода нового «немецкого Шекспира».¹⁴ Харизматичный поэт, всемирно прославившийся как тонкий знаток игры с языковыми границами и столь полюбившийся русским символистам, пробуждает в Гундольфе не только любовь к экспериментам в поэзии, но и стремление даже очерки по литературоведению писать так, чтобы в них звучала живая поэтика мысли. Именно это обстоятельство позволяет охарактеризовать Фридриха Гундольфа не просто как «учёного» (*Wissenschaftler*) и не просто как «творца» (*Künstler*), но как «творца-учёного» (*Wissen-*

¹² См.: *Gundelfinger F. Caesar in der deutschen Literatur*. Berlin–Leipzig, 1904.

¹³ *Osterkamp E.* Op. cit. S. 164.

¹⁴ См.: *Shakespeare in deutscher Sprache*. 10 Bde. Hrsg. und zum Teil neu übersetzt von Friedrich Gundolf, die Sonette übersetzt von Stefan George. Mit Buchschmuck von Melchior Lechter. Berlin, 1908–1918.

schaftskünstler),¹⁵ объединившего в своих произведениях писателя и литературоведа.

И хотя Хуго фон Хофманшталь критиковал Гундольфа, называя его «производным существом» (*abgeleitetes Wesen*)¹⁶ равно как и прочих последователей Стефана Георге, принадлежавших, по оценке Хофманшталя, к «эпигонам» и «имитаторам», своеобразие трудов Фридриха Гундольфа, как справедливо заметил Виктор Шмитц, таково, что вне зависимости от степени влияния на него Георге, невозможно отрицать того, что Гундольф состоялся как неординарная личность, раскрывающая своеобразие духа Веймарской республики.¹⁷ В самом деле, произведения и переписка Фридриха Гундольфа и впрямь раскрывают целую эпоху в истории Германии: так среди близких друзей и корреспондентов немецкого литературоведа можно упомянуть Людвига Клагеса, Макса Вебера, Альфреда Вебера, Эберхарда Готхайна, Эрнста Роберта Курциуса, Карла Ясперса и многих других.

Своеобразие очерков Гундольфа прослеживается и в его хабилитационном исследовании «Шекспир и немецкий дух до появления Лессинга» (*Shakespeare und der deutsche Geist vor dem Auftreten Lessings*), представленном в апреле 1911 года при активном содействии Артура Зальца и Эберхарда Готхайна на суд учёной публики. Гундольф отказывается от всех норм, принятых в лите-

¹⁵ Osterkamp E. Op. cit. S. 163.

¹⁶ См.: Eschenbach G. *Imitatio im George-Kreis*. Berlin, 2011. S. 5.

¹⁷ Schmitz V. Op. cit. S. 321. Также см.: Osterkamp E. Op. cit. S. 165 ff. и др.

ратуроведении в его эпоху. В монографии¹⁸ отсутствует критический аппарат, нет анализа вклада предшественников, библиография и цитирование представляются автору чем-то излишним. Гундольф намеренно игнорирует все незыблемые устои традиционного научного литературоведения — он стремится разрушить его границы. Характерное для Фридриха Гундольфа пренебрежение классическими нормами литературоведения также можно наблюдать и в его поздних сочинениях, включая очерк «Парацельс».

Хотя Фридрих Гундольф уже в начале XX столетия начинает активно печататься и издает наряду с диссертацией и поэтическими пробами ряд литературоведческих очерков, посвящённых Данте, Уильяму Шекспиру, Готхольду Эфраиму Лессингу, Стефану Георге и др.,¹⁹ подлинная слава маститого литературоведа приходит к нему в разгар Великой войны в 1916 году с изданием мону-ментальной книги «Гёте» (*Goethe*. Berlin, 1916), впоследствии выдержавшей более десятка переизданий только при жизни Гундольфа. В том же 1916 году Фридрих Гундольф получает профессорскую ставку в Гейдельберге. Успех книги проф. Гундольфа, столь тонко уловившего немецкий дух Иоганна Вольфганга Гёте и раскрывшего «фаустовскую культуру», природный аристократизм Гундольфа и рассуждения об уходящем немецком романтиз-

¹⁸ См.: *Gundolf F. Shakespeare und der deutsche Geist*. Berlin, 1911.

¹⁹ См. библиографию основных трудов Гундольфа: *Friedrich Gundolf. Dem lebendigen Geist*. Heidelberg–Darmstadt, 1962. S. 289–292.

ме способствуют стремительному росту его популярности среди немецких студентов. Примечательно, что после краха старой Пруссии в Первой мировой войне среди слушателей и горячих почитателей таланта Фридриха Гундольфа был будущий министр пропаганды Третьего Рейха Пауль Йозеф Гёббельс, порывавшийся даже написать под руководством проф. Гундольфа диссертацию.

Именно на период краткосрочного подъема Веймарской республики, также известного как *Goldene Zwanziger*, приходится, пожалуй, самая плодovitая и важная пора в творчестве Гундольфа как литературоведа. Начиная с 1920 года он издает многочисленные произведения по истории европейского духа в литературе: обстоятельный труд о поэзии Стефана Георге, двухтомное исследование о Уильяме Шекспире, характере его трудов и значении для немцев,²⁰ очерк о Генрихе фон Клейсте, цикл, посвященный немецким романтикам, ряд небольших работ о Мартине Опице, Ульрихе фон Гуттене, Теофрасте Парацельсе и других. Показательно, что, несмотря на то что произведения Гундольфа посвящены столь разным мастерам слова в истории западноевропейской культуры, наследие Гундольфа фактически образует «веймарский цикл»: Фридрих Гундольф не просто пишет литературоведческие очерки, он как бы свидетельствует о героях Веймарской республики, в исторической ретроспективе указывает читателю на герольдов жизненного духа. Пло-

²⁰ Отметим, что двухтомный труд о Шекспире «Shakespeare. Sein Wesen und Werk» (Berlin, 1928) частично развивает идеи, представленные Фридрихом Гундольфом прежде в работе «Shakespeare und der deutsche Geist», упоминавшейся выше.

довитость Гундольфа в этот период, равно как его талант предугадывать и раскрывать своеобразие эпохи, представляют особый интерес.

В 1927 году, будучи мужчиной в расцвете сил, Фридрих Гундольф заболевает раком. Смертельный недуг склоняет даровитого писателя к размышлениям о сказаниях про народных врачевателей и могучих волхвов, обращавшихся к чудодейственным силам природных стихий. В том же году Гундольф пишет небольшой очерк «Парацельс», посвященный выдающемуся в истории старого германского мира врачу, алхимику и провидцу. Обращение к наследию Парацельса не случайно. Как справедливо пишет Виктор Шмитц: «Книга „Парацельс“ появляется из переживания немочи, преследовавшей Гундольфа последние годы. <...> Он показывает (в книге — В. М.) как неутомимый человек перешагивает границы своего забродившего цеха, как он противится тогдашней школьной медицине и связанной с ней книжной учености, заостеневшей от схоластики, и обращается напрямую к действенной целительной силе природы».²¹

Очерк «Парацельс» — это не просто еще одно литературоведческое исследование германиста, это своего рода обращение умирающего к живой стихии мира, к «свету природы». В письме другу Эриху фон Калеру Фридрих

²¹ Schmitz V. Friedrich Gundolf. Heidelberg, 1931. S. 22–23. На глубинной связи очерка «Парацельс» с немочью Гундольфа в этот период также настаивает современный исследователь Михаэль Тиманн: *Thimann M. Caesars Schatten. Die Bibliothek von Friedrich Gundolf. Rekonstruktion und Wissenschaftsgeschichte. Heidelberg, 2003. S. 158.*

Гундольф в октябре 1927 года пишет о своей книге: «Пришли мне свои или чужие замечания к „Парацельсу“. Это небольшое произведение, но как по мне, так оно проникнуто *coincidentia oppositorum* („совпадением противоположностей“ — В. М.)...».²² В работе над уточняющими заметками к «Парацельсу» Гундольфа принимает участие Карл Зудхофф — выдающийся знаток жизни и трудов швейцарского врача и инициатор первого критического издания его сочинений. Книга «Парацельс» с посвящением врачу и другу Вальтеру Кемпнеру выходит в том же 1927 году в издательском доме Георга Бонди в Берлине, с которым Фридрих Гундольф неизменно сотрудничал почти всю свою жизнь. Годом позже без изменений выходит второе издание очерка.

Несмотря на болезнь, Гундольф находит в себе силы продолжать писать и публикует целый ряд небольших работ, которые напоминают скорее «послесловия», призванные раскрыть смысл уже написанных ключевых для автора произведений. В феврале 1930 года Гундольф вновь (в последний раз) обращается к Парацельсу и публикует краткое размышление «Парацельс и Данте. Дополнение к истории славы Цезаря».²³ В нем Фридрих Гундольф возвращается к проблеме опыта возвышенного и сакральной природы власти. Опыт вечного возвращения к фигуре Цезаря замыкает цикл его жизни.

²² New York. LBI. Friedrich Gundolf an Erich von Kahler, Sameden, Kreisspital. 3. Oktober. 1927

²³ Gundolf F. Paracelsus und Dante. Ein Nachtrag zur Geschichte von Caesars Ruhm // Neue Schweizer Rundschau. XXIII. 2 (Feb. 1930). S. 105–106.

Чувство неотвратимости конца и осознание пройденного Гундольфом пути, по-видимому, сходятся в мысли, высказанной в очерке «Парацельс»: «Наши помыслы не совпадают с помыслами Господа, и непрекращающиеся попытки наивных или дерзких умов привести их во имя свершений к общему знаменателю обречены на провал и закончатся либо отказом от этих притязаний, либо шарлатанством в соответствии с изречением Гёте: „Тому, кто предпринимает слишком многое, суждено стать мошенником“. В фундаментальной воле Парацельса, выраженной в порыве смелой и благочестивой мысли, есть некий соблазн, благородный огонь, как и в том заблуждении, что привело Колумба к открытию нового мира, или в грандиозно искаженной утопии Данте из трактата „Монархия“... сходным образом и воля Гогенгейма оказалась плодотворной, то есть воплотилась в жизнь, хоть и в направлении, противоположном задуманному...».²⁴ 12 июля 1931 года в городе Гейдельберге *der lebendige Geist* Фридриха Гундольфа покидает этот мир.

Смерть позволяет Гундольфу избежать того разочарования, которое испытали многие из его окружения, созерцая растворение старых идеалов Веймарской республики в новом политическом строе. Жена и брат Фридриха Гундольфа вскоре вынужденно покидают Германию и находят убежище в Англии. Через два года после кончины Гундольфа, в Швейцарии²⁵ уходит из жизни

²⁴ *Gundolf F. Paracelsus*. Berlin 1928. S. 98–99.

²⁵ По одной из версий Стефан Георге, как и семья Гундольфа, намеренно покинул Германию после прихода к власти национал-социалистов.

его друг, поэт Стефан Георге. С его смертью завершается эпоха, герольдом которой Фридрих Гундольф себя считал.

* * *

Без сомнения очерк Фридриха Гундольфа «Парацельс» принадлежит к числу важнейших в творчестве немецкого германиста, и, как кажется, отнюдь не только потому, что написан он был в год, когда Гундольф столкнулся со смертельным недугом, о чем говорилось выше. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что образ врача и алхимика Теофраста Парацельса возникает в творчестве Фридриха Гундольфа задолго до 1927 года. Уже в монументальном труде «Гёте», впервые вышедшем из под пера в 1916 году, Гундольф неоднократно упоминает швейцарского врача. Не следует забывать и о том, что сам Гёте принадлежал к почитателям трудов Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, делал многочисленные выписки из его трудов и обращался к алхимическим образам легендарного врача (в частности, к «гомункулу») в «Фаусте».

Более того, алхимия и ее романтизация, по-видимому, заинтересовала Гундольфа уже в ранний период. Так, в Берлине Гундольф слушал лекции Густава Рёте, крупного знатока немецких памятников по естественной истории, включая алхимию. Эрих Шмидт, оказавший большое влияние на Гундольфа, был крупным знатоком Иоганна Фауста.²⁶ Сохранилось также любопытное пись-

²⁶ См.: *Schmidt E. Faust und das sechzehnte Jahrhundert*. 1882., *Schmidt E. Faust und Luther // Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*. 1896. I. S. 567–591.

мо Стефана Георге Фридриху Гундольфу, написанное еще в 1914 году, в котором Георге раскрывает другу свое понимание сути алхимии. Согласно Георге «алхимия представляет собой не обветшавшее суеверие, но, напротив, не по годам развитое (*gerzkoe*) познание (*die Alchemie sei kein altgewordener Aberglaube, sondern frühreife (vorlaute) Erkenntnis*)».²⁷ Сам Стефан Георге находился под впечатлением от «Тайны адептов» алхимика Александра фон Бернуса, повлиявшего, в частности, на Густава Майринка.²⁸ Особое место в книге алхимика «Тайны адептов» занимала рецепция натурфилософа Йоханнеса Зегера фон Вайденфельда, рассматривавшего связь между алхимическими воззрениями о винном спирте пс.-Раймунда Луллия и Теофраста Парацельса, а также уделявшего внимание трудам Фридриха Эттингера, Антона Йозефа Кирхвегера, Гёте и др. Как отмечает Отто Брендель, сохранились сведения о том, что алхимию вместе с Гундольфом и Георге обсуждал Эрнст Роберт Курциус, широко известный как медиевист и знаток романских языков.²⁹ Таким образом, интерес к Парацельсу и алхимии в случае Гундольфа мог быть обусловлен тесной связью

²⁷ Цит. по: *Bruhns F.-L. Joachim Ringelnatz als hermetischer Mariner. Hamburg, 2008. S. 122.* Отметим, что «дерзкое познание», по мысли Освальда Шпенглера, является характерной чертой «фаустовской культуры», что весьма важно в связи с пониманием алхимии Гундольфом.

²⁸ См.: *Ein Brief Gustav Meyrinks an Alexander von Bernus // Bernus A., von. Das Geheimnis der Adepten. Frankfurt am Main, 2003. S. 75.*

²⁹ См.: *Brendel O. Symbolism of the Sphere. A Contribution to the History of Earlier Greek History. Leiden, 1977. P. 26*

с Георге. Следовательно, мысли о Теофрасте Парацельсе и его роли в немецкой интеллектуальной истории имели не поверхностный характер, а должны были развиваться на протяжении долгого творческого пути Фридриха Гундольфа. Очерк «Парацельс» представляет собой не мимолетный интерес германиста, а результат его взвешенных наблюдений и размышлений, следы которых следует искать в его переписке, а также в работах прежних лет, причем, не только посвященных Гёте, но и, например, Шекспиру.

Другая важная деталь очерка, на которую нужно обратить внимание — это связь между чернокнижником Иоганном Фаустом и врачом и алхимиком Теофрастом Парацельсом, которая весьма широко рассматривалась в исследовательской литературе, посвященной швейцарцу, уже во времена Фридриха Гундольфа. Однако в случае немецкого литературоведа речь, как кажется, идет не просто о некоем анализе сходства легенд о Фаусте и Парацельсе, но о связи между ними в творчестве Гёте и о причастности к фаустовской культуре в смысле Освальда Шпенглера. На это указывает, к примеру, характеристика, данная Гундольфом учителю Парацельса, аббату Иоганну Тритемию — «ein faustischer Forscher».³⁰ Тритемий, к слову, на деле был одним из ярых критиков доктора Фауста, открыто бранил его в письме Иоганну Вирдунгу и совсем не был бы рад сравнению с ним. Очевидная связь между Фаустом и Парацельсом в работе Гундольфа должна рассматриваться не просто как иллюстративный материал, но в контексте немецкой интел-

³⁰ *Gundolf F. Op. cit. S. 15.*

лектуальной культуры, в частности, в связи с образом Фауста у Гёте и Шпенглера.

По этому поводу уместно привести справедливое замечание Эндрю Уикса, весьма точно характеризующее метод Гундольфа: «Влияние Парацельса на „Фауста“ Гёте — это эрозия границы между художественным образом и историческим фактом в отношении Парацельса. Корни этого феномена кроются в „интеллектуальной истории“, *Geistesgeschichte*, в ее признании за формами и архетипами культурных сил и виртуальных субъектов в истории. Так для Фридриха Гундольфа Парацельс был фигурой «макрокосмического масштаба», каковой не было равных вплоть до Георга Агриколы, Кеплера, Лейбница и других равных им ученых умов — и тут Гундольф совершает скачок из истории в литературу — в „Фауст“ Гёте, к первой редакции Пра-Фауста (*Urfaust*)».³¹ Такие «скачки», с точки зрения ученого историка недопустимые, в случае Гундольфа носят не опрометчивый, а намеренный характер. В этой связи критиковать труд Гундольфа как исторический очерк совершенно бессмысленно. Как пишет сам Гундольф: «Цель этой книги — не приумножить библиографическую и медицинскую литературу о Парацельсе, но раскрыть общедуховную сродность его (Парацельса — В. М.) мышления и его деятельности».³² Таким образом, смысл очерка, согласно автору, состоит в аналитике жизненного мира Парацельса безотносительно истории науки. По мысли Гундоль-

³¹ Weeks A. Paracelsus. Speculative Theory and the Crisis of the Early Reformation. New York, 1997. P. 25.

³² Gundolf F. Op. cit. S. 7.

фа, значение такой аналитики не находится в прямой зависимости от развития историко-научных исследований в силу суверенности наук о духе. Здесь прослеживается влияние Вильгельма Дильтея. Более того, Фридрих Гундольф видит в отсылках к «Фаусту» Гёте не иллюстративный материал, но инструмент для того, чтобы раскрыть «малоизвестное через общеизвестное», а именно, показать преимущество мышления от Парацельса к Гёте.

Хотя замысел работы Гундольфа понятен, а его «скачки» из истории в литературу получают в очерке методологическое разъяснение, все же, встает вопрос: в какой мере такая аналитика на практике может быть самостоятельной и актуальной сегодня при условии, что с развитием истории естествознания растут знания об обстоятельствах жизни, смысле учения Парацельса и его эпохе, а следовательно, изменяется и понимание тех *переживаний, мотивов и помыслов*, которыми руководствовался легендарный алхимик и врач? Ответа на этот вопрос Фридрих Гундольф по понятным причинам не дает. Так видный современный историк наследия Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма Пирмин Майер, известный русскому читателю по книге «Парацельс — врач и провидец»,³³ весьма критически и не без иронии дает оценку анализу

³³ См.: *Майер П.* Парацельс — врач и провидец / Пер. Е. Б. Мурзина. М., 2003. Отметим, что эта книга в прошлом году выдержала шестое переиздание на немецком языке и может служить русскому читателю в качестве основополагающего труда для ознакомления с современным состоянием исследований о Теофрасте Парацельсе.

личности Парацельса, проведенному Гундольфом.³⁴ Колкие замечания Майера в адрес германиста, в целом, совершенно оправданы. Однако в его защиту нужно сказать, что некоторые из наблюдений Фридриха Гундольфа, в частности, касающиеся тонких связей воззрений алхимика на веру и врачевание, границ его языка³⁵ и т. д. столь пронизательны, что актуальны до сих пор и заслуживают пристального внимания со стороны исследователей, невзирая на то что очерк был написан германистом в 1927 году. То, что труд Фридриха Гундольфа «Парацельс» устарел в качестве источника сведений об алхимике можно продемонстрировать на многих примерах (удивления это вызывать не должно в силу интенсивности развития исследований, посвящённых Парацельсу и его учению). Интереснее всего, однако, то, что устарел не только очерк, но и поправки к нему Карла Зудхоффа, в частности, знаменитая поправка об «аббате Шпангеймском» («vil ept, als von Spanheim»)³⁶.

Согласно данной поправке, аббат Иоганн из Триттенхайма, как настаивал историк медицины, не мог быть учителем юного Теофраста. Парацельс, по версии Зудхоффа, изучал латынь у некоего наставника-аббата, о котором он сообщает в «Большой хирургии», но был введен в заблуждение надписью на портале собора св. Павла и на фамильном надгробии, отмечавшем место упокоения графов Шпангеймских, в результате чего он

³⁴ Майер П. Парацельс — врач и провидец. М., 2003. С. 189–190.

³⁵ Gundolf F. Op. cit. S. 79, 93.

³⁶ Gundolf F. Op. cit. S. 137.

непреднамеренно спутал титул аббата Лавантского с титулом аббата Шпангеймского, дав тем самым ложный след исследователям. Эта поправка к тексту Фридриха Гундольфа получила в 1936 году развитие в биографии «Парацельс» Карла Зудхоффа и в 1937 году была вновь воспроизведена в книге «Теофраст Парацельс» Франца Штрунца (ученика Зудхоффа). Тем не менее впоследствии эта поправка была отвергнута практически всеми учеными и встретила весьма веские контраргументы в трудах продолжателя критического издания Парацельса, начатого Зудхоффом, Курта Гольдаммера. Таким образом, «исправление фактологической ошибки» в книге Гундольфа Карлом Зудхоффом само оказалось зыбкой гипотезой, не получившей поддержки со стороны научного сообщества.

Сведения о религиозных взглядах Парацельса, на которые опирался Фридрих Гундольф, также весьма далеки от современных, а следовательно, и его анализ религиозных воззрений Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, равно как попытка раскрыть связи воззрений врача с трудами таких богословов как Майстер Экхарт, Мартин Лютер, Себастьян Франк и др. не может быть удовлетворительным подспорьем для современных исследователей. Тот факт, что эта книга Гундольфа была написана в 1927 году, не позволяет строго судить ее автора, который просто не мог на тот момент ознакомиться с целым рядом важнейших памятников раннего парацельсианства, крайне существенных для понимания личности Теофраста Парацельса и его трудов, а следовательно, для подлинного раскрытия того замысла, который сам Фридрих Гундольф видел в своей работе.

Таким образом, очерк «Парацельс» представляет сегодня интерес не в качестве обстоятельного исторического исследования о великом алхимике, но, прежде всего, как памятник эпохи Веймарской республики, существенно повлиявший на образ Парацельса в немецкой философской антропологии. В частности, большое влияние очерк Гундольфа оказал на «Антропологию Парацельса» Фридриха Эстерле.³⁷ Книга Эстерле представляет оригинальную попытку взглянуть на философское наследие Парацельса в свете философии жизни и раскрыть его роль в немецкой интеллектуальной истории. Как пишет об этой книге Джеймс Генри Райс Младший: «Др. Эстерле рассматривает Парацельса как звено в цепи [философов] от Николая Кузанского через Шеллинга, Шопенгауэра, Ницше и вплоть до Клагеса. Парацельс, согласно Эстерле, принадлежит к той плеяде мыслителей, которые, будучи „биоцентристами“, стали оппозиционерами „логоцентризму“ академических учителей. Эти философы жизни (*Leben*) предприняли попытку взять в качестве отправной точки своей философии не знание, но саму жизнь и переживание; объединить мышление и проживание, чувство, для того чтобы найти Духу (*Geist*) естественное пристанище (a natural home) в исполненном жизни теле».³⁸ Примечательно также, что в 1928 году к наследию Парацельса обращается другой дарови-

³⁷ См.: Oesterle F. Die Anthropologie des Paracelsus. Berlin, 1937.

³⁸ Rice J. H. Jr. Review: Die Anthropologie des Paracelsus von F. Oesterle // The Journal of Philosophy. Vol. 35. No. 18 (Sep. 1, 1938). P. 488.

тый ученик Вильгельма Дильтея и Генриха Вёльфлина, блистательный последователь Макса Шелера, Бернад Хрутхаюсен, посвятивший легендарному швейцарскому врачу главу в своей «Философской антропологии».³⁹ Обращает на себя внимание тот факт, что у Гундольфа и Хрутхаюсена не только были общие учителя, но и общие друзья, в частности, Карл Ясперс и Эрнст Роберт Курциус. Влияние книги Гундольфа на Хрутхаюсена при этом не просматривается.

Несомненно, однако, что вклад Гундольфа в формирование образа Теофраста Парацельса как выразителя немецкого духа должен был оказать влияние на становление воззрений немецких германистов на врача в тридцатые годы. В связи с этим книга Фридриха Гундольфа должна была стать подспорьем для появления в 1943 году замечательного фильма Георга Вильгельма Пабста «Парацельс».

Таким образом, для тех читателей, чьи интересы сопряжены с интеллектуальным наследием эпохи Возрождения и раннего Нового времени, книга Фридриха Гундольфа представляет интерес скорее в контексте истории рецепции наследия Парацельса, как его «веймарский лик». Также как книга отечественного германиста В. М. Проскурякова «Парацельс», при всех ее достоинствах, представляет его «советский лик», где «лучшие фаустовские черты» получают «простор для своего развития <...> в стране победившего пролетариата».⁴⁰

³⁹ См.: *Groethuysen B. Philosophische Anthropologie*. Berlin, 1928. S. 159–170. Примечательно, что по материнской линии Бернад Хрутхаюсен был русским.

⁴⁰ *Проскуряков В. М. Парацельс*. М., 1935. С. 168.

Для всех читателей, интересующихся культурой Веймарской республики и деятельностью кружка Георге, очерк Гундольфа «Парацельс» без сомнений откроет новую перспективу в понимании духа эпохи и ее выразителей. Своеобразие этой книги Фридриха Гундольфа, авторский стиль и взгляд на Парацельса через призму немецкой философии жизни и литературоведения позволяют рассматривать настоящий очерк как ценный памятник эпохи, невзирая на то, что его положения скорее могут служить подспорьем для изучения наследия самого Гундольфа, нежели Парацельса.

*В. Н. Морозов
Трир, Германия
май–июнь, 2014 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
ПАРАЦЕЛЬС	6
Приложение	165
Фридрих Гундольф и его «Парацельс» <i>В. Н. Морозов</i>	168

Фридрих Гундольф

ПАРАЦЕЛЬС

Художник П. Палей

Компьютерная верстка О. В. Новиковой

Подписано к печати 28.10.2014.

Формат 60 × 75 1/16

Бумага офсетная. Гарнитура «Talisman».

Усл. печ. л. 10.0. Уч.-изд. л. 7.8. Заказ 5998

Издательство «Владимир Даль»

193036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, 19

Отпечатано способом ролевой струйной печати

в ОАО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т/ф. 8(496)726-54-10

Литературно-философское эссе о Парацельсе, изданное Фридрихом Гундольфом в 1927 году, проникнуто идеями христианского романтизма и философии жизни, переживавших в это время в Европе свой расцвет. У читателя, знакомого с духовными движениями той эпохи, подобная работа вызовет не только предметный, но и методологический интерес: наряду с жизнеописанием гениального ученого и целителя, с выявлением духовной природы и особенностей его гения, она в не меньшей мере сообщает и множество подробностей о самом авторе эссе и о времени, когда оно создавалось.

Творческий портрет Парацельса, написанный в дильтеевском духе, преследует своей главной целью не указание деталей и перипетий его жизненного пути, а именно раскрытие символического смысла его дарования, его творческой жизненной силы, не просто выражающей то или иное духовное содержание, но становящейся двигателем самой истории европейского духа. По мнению Гундольфа, Парацельс, наряду со своим современником Лютером, представляет собой фигуру «макрокосмического рвения», не знавшую себе равных вплоть до явления Гёте, и принадлежит к числу тех гениев человечества, которые понимали творческое действие как становление и рост, а не просто как комбинирование и построение. Именно то, что в эпоху Просвещения считалось предосудительным, принижалось и выхолащивалось в сути творческого деяния, вновь находит свое адекватное выражение и признание в герменевтической эссеистике XX века.